

Раннее творчество Пушкина (1813 – 1820)

Важнейшей особенностью пути Пушкина-писателя является исключительная стремительность творческого развития. Ю.Н. Тынянов говорил о «быстрой, даже катастрофической» эволюции пушкинского творчества¹. За отпущенные ему судьбой 24 творческих года поэт проделал поистине гигантский путь. Изучая его, необходимо иметь в виду постоянную смену художественных задач, которые ставил перед собой и последовательно решал Пушкин, движение от этапа к этапу, даже от одного произведения к другому, ибо, по образному выражению крупного ученого-литературоведа Л.В. Пумпянского, каждое произведение поэта «есть географическое открытие новой страны».

Приступая к монографическому освещению пушкинского творчества, Б.В. Томашевский постулировал: «Познать творчество Пушкина значит познать природу тех изменений, коим подвергалась система его творчества в целом»². Для решения этой задачи важно установить периодизацию творчества Пушкина, соответствующую реальному его развитию. Та периодизация, которая более или менее устоялась, следует преимущественно за биографией поэта, что является реликтом былого, преимущественно биографического подхода к изучению Пушкина. Обычно выделяют лицейский период (1813 – 1817), за ним следует «петербургский период» (1817 – 1820), затем период южной ссылки (1820 – 1824), михайловский период (1824 – 1826); несколько менее определенно решается вопрос о периодизации творчества Пушкина 1826 – нач. 1837 годов, здесь обычно выделяются первые годы после ссылки (182 – 1829) и, наконец, тридцатые годы (начиная с 1830 года и до смерти

поэта). Эту биографическую схему известный пушкинист Б.С. Мейлах остроумно назвал «географической», поскольку, по крайней мере до 1826 года, она жестко привязывается к «перемене мест» пребывания поэта³. В какой-то мере эта привычная схема соответствует реальной эволюции творчества Пушкина, но все же она нуждается в существенных коррективах (подробнее см. мою статью: Проблемы периодизации творчества Пушкина // ИАН СЛЯ. 1982. № 3. С. 219–228).

Далее мы будем рассматривать творчество Пушкина, объединяя его этапы в более крупные хронологические блоки: раннее творчество (1813–1820), творчество первой половины 1820-х годов (1820–1826), творчество второй половины 1820-х годов (1826–1830) и творчество 1830-х годов (1831–нач. 1837 года), учитывая по возможности реальные изменения в творчестве поэта внутри каждого из названных периодов.

* * *

Пушкин сказал о себе: «начал я писать с 13-летнего возраста и печатать почти с того же времени» (VII, 131). И действительно, первые известные нам его произведения датируются 1813-м годом (стихотворение «К Наталье», начало поэмы «Монах» и эпиграмма на лицейского товарища Пушкина В.К. Кюхельбекера «Несчастье Клита»). Первое опубликованное произведение поэта «К другу стихотворцу» появилось 4 июля 1814 года в журнале «Вестник Европы» (№ 13). Этими произведениями открывается лицейское творчество Пушкина, дошедшее до нас в довольно большом объеме, но все-таки не полностью: сохранилось далеко не все, к тому же то, что сохранилось, дошло

не столько в автографах, сколько в многочисленных копиях, отдельных и в составе различных рукописных сборников. Не всегда знаем мы первоначальные редакции лицейских стихотворений Пушкина, а те из них, которые он публиковал и впоследствии, печатаются обычно в поздних редакциях (кроме *Акад.* и современного академического издания сочинений поэта). Еще в Лицее Пушкин задумал первый свой авторский сборник — «Стихотворения Александра Пушкина, 1817», рукопись которого, тоже преимущественно в авторизованных списках дошла до нас в составе первой рабочей тетради поэта. Издание сборника, однако, не состоялось.

И все же, несмотря на очевидную неполноту сведений о лицейском творчестве Пушкина, сохранившаяся его часть дает достаточное представление о составе и характере корпуса стихотворений юного поэта и прежде всего о его лирике (в пушкинские времена именовавшейся «мелкими стихотворениями») — доминанте его творчества лицейских лет. Но практически мы почти ничего не знаем о лицейской прозе Пушкина⁴, совсем, кроме отрывочных сведений, о его лицейской драматургии и т.д. Лицейская поэзия Пушкина является самодостаточной; Ю.Н. Тынянов утверждал: «В лицейских стихах он является совершенно законченным поэтом особого типа», связывая юношескую поэзию Пушкина с стилизацией, относящейся к «периферии литературного течения, называемого «карамзинизмом»»⁵. И тем не менее лицейская поэзия Пушкина многими нитями связана и с его последующим творчеством. Как писал известный литературовед начала XX века Вл.В. Гиппиус: «В первых уже, так называемых лицейских стихотворениях Пушкина есть *в возможности* все то, что в будущем развилось и оформилось». Уже лицейская поэзия Пушкина поражает своим формальным совершенством, и это несмотря на явную несамостоятельность многих идей, образов, поэтических приемов. Об этом удачно заметил в одном из своих писем Б.Л. Пастернак: «Как иногда внутренне пуст и технически блестящ Пушкин-лицеист, как опережают его средства выражения действительную надобность в них. Он уже может говорить обо всем, а говорить ему еще не о чем». На это обратили внимание уже современники. В.А. Жуковский в письме П.А. Вяземскому так писал о Пушкине — начинающем поэте: «Он теперь бродит вокруг чужих идей и картин. Но ког-

да запасется собственными увидишь, что из него выйдет». Наглядно проявляется это уже в первом известном нам стихотворении юного Пушкина «К Наталье», порожденным его детской влюбленностью в крепостную актрису домашнего театра графа В.В. Толстого:

Так и мне узнать случилось,
Что за птица Купидон;
Сердце страстное пленилось;
Признаюсь — и я влюблен.
<.....>
Миловидной жрицы Тальи
Видел прелести Натальи,
И уж в сердце — Купидон!
(I, 9)

Это чувство еще внове для автора, и он ищет средства для его выражения в известных ему литературных и музыкальных образцах:

Завернувшись балахоном,
С хватской шапкой набекрень
Я желал бы Филимоном
Под вечер, как всюду тень,
Взяв Анюты нежну руку
Изъяснять любовну муку,
Говорить — она моя!
Я желал бы, чтоб Назорой
Ты старалась меня
Удержать умильным взором.
Иль седым опекуном
Легкой, миленькой Розины,
Старым пасынком судьбины,
В епанче и с париком,
Дерзкой пламенной рукою
Белоснежну, полно грудь...
Я желал бы... да ногою
Моря не перешагнуть,
И, хоть по уши влюбленный,
Но с тобою разлученный,
Всея надежды я лишен.
(I, 10-11)

Филимон и Анюта, Назора, Розина и ее старый опекун — все это персонажи литературных и музыкальных произведений XVIII века («Мельник-колдун, обманщик и сват» А. Аблесимова, музыка С. Соколовского, итальянская опера Саккини «Обманутый скупец», «Севильский цирюльник» Бомарше и одноименная опера Паэзиелло); обращение к ним помогло юному поэту как-то передать еще настоящему не испытанное и недоступное ему пока чувство. Любопытна и концовка стихотворения:

— Кто же ты, болтун влюбленный? —
 Взглянь на стены возвышенны,
 Где безмолвья вечный мрак;
 Взглянь на окна загражденны,
 На лампы там зажженны...
 Знай, Наталья! — я монах!
 (I, 11)

И этот авторский образ имеет литературное происхождение («Обитель» французского поэта XVIII века Грессе); вместе с тем он навеян и лицейскими впечатлениями. Царскосельский Лицей, в котором учился Пушкин, был строго закрытым учебным заведением. Все шесть лет пребывания в нем лицеисты должны были провести в его стенах без увольнения на каникулы (лишь на Рождество 1816 года они были отпущены домой, но не все воспользовались этой возможностью; Пушкин ездил тогда в Петербург к родителям).

Остановлюсь немного на характеристике Лицея, с которым связаны значительные и очень важные для поэта несколько лет его жизни. Это большая тема, широко освещенная в литературе, к которой полезно обратиться за большими подробностями⁶. Говоря о творчестве Пушкина, и не только лицейского периода, очень важно иметь представление о Лицее, вошедшем в него как постоянная тема поэта — вплоть до стихотворения 1836 года «Была пора — наш праздник молодой...» Для Пушкина Лицей прочно связался с образом его детства; «...бросается в глаза, — справедливо утверждал Ю.М. Лотман, — что, когда в дальнейшем Пушкин хотел оглянуться на начало своей жизни, он неизменно вспоминал только Лицей — детство он вычеркнул из своей жизни»⁷. В дальнейшем мы неоднократно будем говорить о лицейской теме в творчестве Пушкина, всегда сохранявшей для поэта особую привлекательность. Что же касается собственно лицейской поэзии Пушкина, то ее, как справедливо отмечал видный исследователь пушкинского Лицея К.Я. Грот, «нельзя изучать вне обстановки Лицея его времени, отделив и вырвав ее из той почвы, которая ее питала, из той стихии или среды, в которой она создавалась и расцветала»⁸.

Царскосельский Лицей возник в 1811 году, его торжественное открытие состоялось 19 октября, ставшего чтимой датой русского календаря благодаря главным образом Пушкину, хотя во многом и независимо от него только, ибо Лицей занимает значительное

место и сам по себе как один из ярких культурных феноменов XIX — начала XX веков. Мысль о создании Царскосельского Лицея возникла на излете «дней Александровых прекрасного начала» (слова Пушкина; см. II, 113), в ходе подготовки широко задуманных крупнейшим политическим деятелем начала XIX века М.М. Сперанским реформ русской государственности. В постановлении о Лицее отмечалось, что его учреждение «имеет целью образование юношества, особенно предназначенного к важным частям службы государственной». Иными словами, Сперанский полагал, что Лицей станет учебным заведением, в котором готовились бы чиновники будущей высшей администрации. «Вы будете иметь непосредственное влияние на благо целого общества», — говорил, обращаясь к своим будущим воспитанникам, А.П. Куницын в памятной им речи на церемонии открытия Лицея. Еще в ходе подготовки к его основанию вокруг идеи Лицея развернулась борьба, но верх взяло направление, заданное Сперанским. Правда, была все же отклонена первоначально возникшая идея внесловного характера будущего учебного заведения, и основано оно было как училище для дворян. Однако, как писал Б.В. Томашевский, «состав лицейских воспитанников оказался более демократическим, чем предполагалось»⁹; среди них преобладали дети из семей небогатых, служилых дворян, а не аристократов. Правда, поначалу возникла даже мысль отдать в Лицей младших братьев Александра I — Николая и Михаила, но от нее, видимо, по настоянию императрицы-матери вскоре отказались.

Задачи, которые были поставлены перед Лицеем, требовали хорошей постановки образования в нем; он был задуман как своего рода полусреднее, полувысшее учебное заведение («Лицей в правах и преимуществах своих совершенно равняется с российскими университетами», — говорилось в положении о нем). Это не совсем получилось на деле, хотя на втором курсе (последние три года обучения) предусматривалась довольно серьезная учебная программа. С отказом Александра I от задуманных реформ (вскоре после основания и открытия Лицея, в марте 1812 года Сперанский попал в опалу и был надолго сослан) интерес царя к новому учебному заведению заметно упал, и это не позволило ему вполне выполнить ту роль, к которой он был предназначен. Из выпускников первого, пушкинского выпус-

ка Царскосельского Лицея, в сущности, только двое — крупнейший русский дипломат XIX века А.М. Горчаков, в будущем министр иностранных дел и канцлер Российской империи, и преуспевающий чиновный карьерист М.А. Корф — стали крупными администраторами; заметную военную карьеру осуществили генерал В.Д. Вольховский и адмирал Ф.Ф. Матюшкин, имя которого оставило даже след на географической карте. Еще немногие из лицеистов первого курса (О.Д. Комовский, А.А. Корнилов, Ф.Х. Стевен) тоже дослужились до высоких статских чинов. Но, разумеется, не этим определяется действительное значение первого выпуска Царскосельского Лицея. Главный его результат — это, конечно, Пушкин, да еще А.А. Дельвиг и В.К. Кюхельбекер, оставившие по себе след в русской литературе и культуре. Кюхельбекер, как и «первый друг» Пушкина И.И. Пущин, стали еще и видными декабристами. С движением декабристов были связаны и некоторые другие лицеисты первого выпуска, прежде всего Вольховский, не осужденный, правда, по их делу, но переведенный по службе на Кавказ. Именно это определило последующую репутацию Лицея в охранительных кругах главным образом николаевского уже царствования. В специальной доносительной записке («Нечто о Царскосельском лицее и о духе оною», 1826) известный «полицейский литератор» Ф.В. Булгарин так представил то, что он назвал «лицейским духом»: «В свете называется *Лицейским духом*, когда молодой человек не уважает старших, обходится фамильярно с начальниками, высокомерно с равными, презрительно с низшими, исключая тех случаев, когда для фанфаронады надо показаться любителем *равенства*. Молодой вертопрах должен при сем порицать насмешливо все поступки особ, занимающих значительные места, все меры правительства, знать наизусть или сам быть сочинителем эпиграмм, пасквилей и песен предосудительных на русском языке, а на французском — знать все самые дерзкие и возмутительные стихи и места самые сильные из революционных сочинений <...> *Верноподданный* значит укоризну на их языке, *европеец* и *либерал* — почетные названия» и т.д. и т.п. Конечно, эта нелестная характеристика направлена была прежде всего против Пушкина. Еще ранее (1820) в доносе консервативного публициста В.Н. Каразина о Царскосельском Лицее говорилось: «...из воспитанников более или менее есть почти всякий Пушкин,

и все они связаны каким-то подозрительным союзом, похожим на масонство». Тот же Каразин утверждал даже, будто в Лицее воспитываются «недоброжелатели царю и отечеству».

Все это, как и инсинуации Булгарина, конечно, сильное преувеличение, хотя преподавание в Лицее основывалось во многом на передовых для того времени просветительских идеях.

Были среди лицеистов первого курса и другие одаренные люди (музыканты Н.А. Корсаков и М.Л. Яковлев, поэт А.Д. Илличевский); необычно сложилась и яркая судьба С. Броглио, павшего, участвуя в национально-освободительной борьбе греков. Всего в 1817 году Лицей закончили 29 воспитанников, большинство из которых оказались довольно заурядными людьми, не оставившими по себе заметного следа (хотя были среди них и весьма достойные люди, как, например, друг Пушкина И.В. Малиновский, сын первого директора Лицея)¹⁰. Но нельзя винить в этом лицейское преподавание, уровень которого был достаточно высоким. Правда, в оценке Царскосельского Лицея можно встретить разброс мнений от непомерно хвалебных (см., например, суждение Н.Н. Скатова, будто реализация планов создания Лицея «далеко превзошла самые благие административные замыслы, воплощение становилось ярче всех мечтаний и опрокидывало их») до резко уничижительных. Ю.М. Лотман, например, полагал, что в Лицее «план преподавания был не продуман, состав профессоров — случаен, большинство из них не отвечало по своей подготовке и педагогическому опыту даже требованиям хорошей гимназии»¹¹. В этой оценке сильно ступены краски; конечно, в Лицее были и средние (историк И.К. Кайданов, математик Я.И. Карцев) и слабые (профессор немецкого языка и словесности Ф. Гауеншильд) преподаватели. Кстати, поначалу в Лицее было только три профессора — Н.Ф. Кошанский, Д. де Будри и Гауеншильд, только в 1816 году к ним присоединились А.П. Куницын, Карцев и Кайданов, до того занимавшие должность адъюнкт-профессора. Не всегда удачен был и выбор так называемых надзирателей (позднее переименованных в инспекторов), особенно одиозными среди них были М.С. Пилецкий-Урбанович и С.С. Фролов, в 1816 году неудачно исполнявший даже обязанности директора Царскосельского Лицея.

В целом, однако, уровень преподавания в Лицее был достаточно высок. Как справедливо писал в начале XX века поэт-царскосел И.Ф. Анненский, «для своего времени и Куницын, и Кошанский, и Карцев были люди хорошо образованные, учились за границей, писали книги».

Особенно следует отметить Куницына и Кошанского, преподававших один «нравственно-политические», другой — словесные науки (русскую и латинскую словесность). Последние преподавали в отсутствие Кошанского, еще А.И. Галич и П.Е. Георгиевский. Все они, кроме последнего, преподавателя довольно неудачного, оставили заметный след в биографии и поэзии Пушкина. Куницын же вообще был любимцем лицейстов и особенно сильно повлиял на них, в том числе и на Пушкина, который хотя и не был среди успешно успевающих по его предметам учеников, но многое схватывал и правильно понимал. Это вообще характерно для стиля ученья Пушкина-лицейста: «По-видимому, рассеянный и невнимательный, — писал впоследствии друг и биограф поэта П.А. Плетнев, — он из преподавания своих профессоров уносил более, нежели товарищи». Лучше других Пушкин воспринимал уроки Кошанского и профессора французского языка и словесности де Будри (родного брата известного деятеля Великой Французской революции Ж.-П. Марата), но и они не всегда были довольны своим учеником. «Александр Пушкин весьма понятлив, замысловат, но вовсе не прилежен», — констатировал профессор Кошанский. Отсутствие должного прилежания помешало Пушкину успешно завершить ученье в Лицее, его он закончил 26-м (из 29).

Большое значение в поддержании достаточно высокого уровня преподавания в Лицее имели и его директора: выдающийся просветитель В.Ф. Малиновский (1811—1814) и опытный педагог Е.А. Энгельгардт (1816—1823), между их правлением пролегал, по слову Пушкина, «безначалие» (VIII, 55), когда Царскосельский Лицей управлялся случайными людьми (Гауеншильд, Фролов).

Для становления Пушкина как поэта особенно важно было то, что в Лицее преобладало гуманитарное направление, в частности, поощрялась (хотя временами, наоборот, запрещалась) литературная деятельность лицейстов. Среди них сразу же выдвигаются молодые дарования, возникает атмосфера сорев-

нования. Сперва первым лицейским поэтом признается А. Илличевский, довольно успешно дебютировавший именно в Лицее, где рано обнаруживаются его поэтические способности. Но, как пронизательно замечал директор Лицея Энгельгардт, «несколько самодельных рифм и чрезмерные и неосторожные похвалы, которые воздавались его незрелой музе, сделали свое дело слишком добросовестно». Впоследствии Илличевский зарекомендовал себя как незначительный поэт, автор единственного стихотворного сборника «Опыты в антологическом роде» (1827)¹², в котором, по словам В.Э. Вацура, «отсутствуют как глубина, так и оригинальность». Эти недостатки проявились уже и в лицейских стихах Илличевского, по поводу которых Б.В. Томашевский сказал: «Это было эпигонство мелких жанров, характерных для поэзии начала века»¹³. По-видимому Илличевского имел в виду Пушкин, когда уже в 1830-е годы в статье о Дельвиге писал: «Никто не приветствовал вдохновенного юношу, между тем как стихи одного из его товарищей, стихи посредственные, заметные только по некоторой легкости и чистоте мелочной отделки, в то же время были расхвалены и прославлены как некоторое чудо!» (VII, 217). Впрочем, отдадим должное Илличевскому; сам он не держался своего первенства и вскоре же отодвинулся на третье место среди лицейских поэтов (после Пушкина и Дельвига). И именно Илличевскому принадлежит замечательное предвидение; в письме своему другу он писал о Пушкине (16 января 1816): «Дай Бог ему успеха — лучи его славы будут отсвечиваться в его товарищах»¹⁴. О соотношении дарований обоих лицейских поэтов красноречиво свидетельствует их обмен посланиями в 1815 году. Правда, в своем послании «К живописцу» Пушкин не обязательно имел в виду Илличевского, скорее адресат здесь условный; но тот принял на себя долг ответить поэту-товарищу (Илличевский, кроме стихов, баловался и рисованием, главным образом как карикатурист). В своем стихотворении «К живописцу» Пушкин писал:

Дитя харит и вдохновенья,
В порыве пламенной души,
Небрежной кистью наслажденья
Мне друга сердца напиши;
Красу невинности прелестной,
Надежды милые черты,
Улыбку радости небесной

И взоры самой красоты
 <.....>
 Представь мечту любви стыдливой,
 И той, которою дышу,
 Рукой любовника счастливой
 Внизу я имя подпишу.
 (I, 155)

В своем ответном послании «От живописца» Илличевский писал:

Всечасно мысль тобой питаю,
 Хотелось мне в мечте
 Тебя пастушкой, дорогая,
 Представить на холсте.
 <.....>
 Всё стер и начинаю снова.
 Я выбрал образцом
 Елену в пышности покровы
 В алмазах и с венцом.
 <.....>
 Но погляжу — Опять нет сходства, —
 Не стало сил моих.

Так! видно мысль одна дерзает
 Постичь красу твою
 Пред совершенством повергает
 Искусство мысль свою... и т.д.¹⁵

Но любопытно, что В.Э. Вацуро нашел возможным переадресовать приписанное было Пушкину стихотворение «Цель нашей жизни» (см. I, 389-390) Илличевскому, что указывает на определенную близость поэтики (но не дарования!) обоих лицейских поэтов.

Как начинающие поэты в Лицее заявили себя также Дельвиг (в печати он даже немногим опередил Пушкина) и Кюхельбекер, хотя над последним соученки постоянно посмеивались. Вообще в Лицее шла очень активная литературная жизнь: составлялись сборники стихотворений лицейских поэтов, коллективно создавались так называемые «национальные песни», в которых обыгрывались разные стороны повседневной лицейской жизни и т.д. Наконец, активно развивалась в Лицее и самодеятельная журналистика: здесь издавалось несколько рукописных журналов: «Вестник», «Для удовольствия и пользы», «Неопытное перо» и др. Некоторые из них известны только по их заглавиям. К изданию по крайней мере одного из таких — журналов («Юные пловцы») был причастен и Пушкин. Из лицейских журналов более других сохранился «Лицейский Мудрец» (четыре номера 1815 года). В этих журналах помещались лите-

ратурные опыты лицеистов в прозе и стихах, остроумные эпиграммы и карикатуры, объектом которых нередко оказывался злосчастный Кюхельбекер. Подобно настоящим журналам «Лицейский Мудрец» подразделялся на рубрики; «Изящная словесность», «Критика», «Политика», «Смесь». Вся эта достаточно бурная литературная деятельность свидетельствовала об интересе, который вызывала она среди упражнявшихся в ней лицеистов¹⁶.

И непосредственно в классах получали они полезные литературные уроки, особенно при разборе образцовых произведений древних и новых писателей. Педагоги также стимулировали своих питомцев к литературному творчеству, давая соответствующие задания и поощряя их поэтические опыты. Особенно значительна роль Кошанского и Галича в приобщении лицеистов не только к русской, но и античной (особенно латинской) словесности.

Картина лицейской жизни была бы неполной, если не сказать о влиянии самой эпохи, особенно Отечественной войны 1812 года, события которой естественно вызывали жгучий интерес лицеистов. «Жизнь наша лицейская, — писал в своих «Записках о Пушкине» И.И. Пущин, — сливается с политической эпохой народной жизни русской: приготовлялась гроза 1812 года. Эти события сильно отразились на нашем детстве»¹⁷. Ю.М. Лотман удачно заметил: «История со страниц учебников сама явилась на лицейский порог»¹⁸. Не остались лицеисты первого курса в стороне и от вызванного событиями войны 1812 — 1815 годов идейного брожения; четверо из них (Вольховский, Дельвиг, Кюхельбекер, Пущин) состояли даже в одной из ранних преддекабристских организаций — «Священной артели». Большую роль в становлении мировоззрения юных лицеистов сыграло и их знакомство с офицерами квартировавшего в Царском Селе лейб-гвардии гусарского полка, в частности, с П.Я. Чаадаевым, с которым летом 1816 года на даче у Карамзиных познакомился и Пушкин. На влияние гусарских офицеров на лицеистов обратил внимание и Булгарин, используя это как лишний довод для доказательства тлетворности пресловутого «лицейского духа»: «В Царском Селе стоял гусарский полк <...> и молодые люди постепенно начали получать идеи либеральные, которые кружили в свете. <...> В Лицее начали читать все запрещенные книги, там находился архив всех руко-

писей, ходивших тайно по рукам, и, наконец, пришло к тому, что если надлежало отыскать что-либо запрещенное, то прямо относились в Лицей». И это, конечно, большое преувеличение, хотя несомненно, что общение с молодыми «либералистами» из числа гусарских офицеров, не могло не сказаться на образе мыслей их друзей-лицеистов, и не случайно уже в лицейской поэзии Пушкина мы находим первое обращение к общественной проблематике в стихотворении «Лицинию» (1813):

Исчезнет Рим; его покроет мрак глубокой,¹⁹
И путник, устремив на груды камней око,
Воскликнет, в мрачное раздумье углублен:
«Свободой Рим возрос, а рабством погублен».
(I, 99)

Не буду подробнее характеризовать это большое стихотворение, отмечу только, что оно включено в традицию русской поэзии обращаться к античной теме в целях утверждения современной общественной проблематики. Не случайно при первой публикации стихотворения в журнале «Российский Музеум» оно было снабжено подзаголовком «С латинского», призванным обезопасить от возможных подозрений цензуры о связи стихотворения с политической действительностью России 1810-х годов. Хотя позднее Пушкин снял этот подзаголовок, он все же был сохранен в оглавлениях его авторских сборников 1826 и 1829 годов.

События Отечественной войны 1812 года оказались в центре едва ли не центрального в лицейской поэзии Пушкина произведения — стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», первом опубликованном за полной подписью поэта (до того Пушкин публиковал свои стихотворения под псевдонимами). Стихотворение это было написано в 1814 году по инициативе А.И. Галича и было прочитано автором 8 января 1815 года на переводном лицейском экзамене (в связи с переходом с первого на второй курс лицейского обучения). С этим событием связан один из наиболее знаменательных эпизодов всей жизни Пушкина. Среди других гостей на экзамене находился Г.Р. Державин, присутствие которого придало чтению юным Пушкиным написанного им стихотворения особую ответственность. Престарелый Державин с большим вниманием отнесся к юному собрату, тем более, что в стихах того прозвучало и его имя:

О, громкий век военных споров,

Свидетель славы россиян!

<.....>

Их смелым подвигам страхась дивился мир;
Державин и Петров героям песнь бряцали
Струнами громозвучных лир
(I, 71)

Читая свое стихотворение, Пушкин особенно педалировал это место; «когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина, — вспоминал впоследствии поэт, — голос мой отроческий зазвенел, сердце забилося с упоительным восторгом...» (VIII, 48)

Старый поэт был в восторге от стихотворения Пушкина «Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел меня обнять... Меня искали, но не нашли...» — писал Пушкин.

Этому событию поэт сразу же придал исключительно важное значение, уже вскоре, в 1816 году упомянув о нем в послании «К Жуковскому»:

И славный старец наш, царей певец
избранный,
Крылатым гением и грацией венчанный,
В слезах обнял меня дрожащею рукой,
И счастье мне предрек, незнаемое мной.
(I, 171)

А много позднее в начале последней главы «Евгения Онегина», вспоминая свою музу лицейского периода, Пушкин снова вернется к этому эпизоду в крылатых стихах:

И свет ее с улыбкой встретил;
Успех нас первый окрылил;
Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил.
(V, 142)

Державин, действительно, и «благословил» юного Пушкина и «предрек» его будущую славу. С.Т. Аксаков в воспоминаниях о Державине приводит слова старого поэта, находившегося под свежим впечатлением от чтения юного лицеиста: «Мое время прошло... Скоро явится второй Державин: это Пушкин, который уже в лицее перещеголял всех писателей». Пушкинские «Воспоминания в Царском селе» вызвали энтузиазм и других поэтов; в письме Батюшкову, написанном, вероятно, во второй половине января — начале февраля 1815 года П.А. Вяземский сообщал о впечатлении, произведенном стихотворением Пушкина: «Его Воспоминания вскружили нам голову с Жуковским. Какая сила, точность в

выражении, какая твердая и мастерская кисть в картинах. Дай Бог ему здоровья и учения и в нем прок и горе нам. Задавит каналья!»

В центре стихотворения Пушкина тема Отечественной войны 1812 года:

И быстрым понеслись потоком
Враги на русские поля...
<.....>

Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны;
Восстал и стар и млад; летят на дерзновенных.
Сердца их мщеньем зажжены.
Вострепещи, тиран! уж близок час паденья!
Ты в каждом ратнике узришь богатыря,
Их цель иль победить, иль пасть в пылу
сраженья
За веру, за царя.
(I, 72)

Последний стих привожу по лицейской редакции стихотворения; позднее, перерабатывая его текст, Пушкин заменил его на «За Русь, за святость алтаря», стремясь снять налет юношеской восторженности по отношению к Александру I, кстати, тоже присутствовавшего на лицейском экзамене 1815 года. Одновременно в конце стихотворения поэт снял и целую строфу, посвященную царю:

Достойный внук Екатерины!
Почто небесных аонид,
Как наших дней певец, славянской бард
дружины,
Мой дух восторгом не горит?.. и т.д.
(I, 412)

Это упоминание о Жуковском — авторе «Певца во стане русских воинов» служило переходом к посвященной старшему поэту заключительной строфе пушкинского стихотворения («О скальд России вдохновенный // Воспевший ратных грозный строй...» и т.д.; I, 74). Не буду подробнее говорить об этом большом стихотворении, отмечу в нем только то, что обнаруживает зависимость юного автора от предшествовавшей ему русской поэтической традиции. Не случайно в «Воспоминаниях в Царском Селе» упоминаются Державин и Жуковский: связь с обоими поэтами наглядно обнаруживается в пушкинском стихотворении. Следует назвать еще Батюшкова, у которого, как это обнаружил Б.В. Томашевский²⁰, Пушкин заимствовал несколько видоизмененную им форму строфы стихотворения 1814 года «На развалинах замка в Швеции», бывшего

тогда литературной новинкой. О воздействии Батюшкова на юного поэта свидетельствует и поэтическая образность пушкинского стихотворения. Ср.:

Где ты, краса Москвы стоголовой,
Родимой прелесть стороны?
Где прежде взору град являлся величавый,
Развалины теперь одни...
<.....>
И там, где роскошь обитала
В сенистых рощах и садах,
Где мирт благоухал и липа трепетала,
Там ныне угли, пепел, прах.
(I, 73)

и в стихотворении Батюшкова «К Д<ашко>ву» (1813):

И там, — где роскоши рукою
Дней мира и трудов плоды.
Пред златоголовою Москвою
Воздвиглись храмы и сады, —
Лишь угли, прах и камней горы...
(курсив мой. — Л.С.)

Очевидна и ориентация Пушкина на батюшковский жанр «исторической элегии» одновременно с преимущественной установкой на оду (некоторое сближение с которой есть и у Батюшкова).

Еще более наглядно предстает в стихотворении Пушкина связь с традициями Державина и Жуковского. Ориентация на поэтику Державина очень заметна в конце первой строфы «Воспоминаний в Царском Селе»:

И тихая луна, как лебедь величавый
Плывет в сребристых облаках.

и особенно в отброшенной позднее второй строфе лицейской редакции стихотворения:

Плывет — и бледными лучами
Предметы осветила вкруг
<.....>
Здесь, вижу, с тополлом сплелась младая ива
И отразилась в кристалле зыбких вод;
Царицей средь полей лилея горделива
В роскошной красоте цветет.
(I, 70, 412)

Эти стихи приводят на память знаменитое описание луны в начале стихотворения Державина «Видение мурзы», которое Л.В. Пумпянский относил к «числу лучших русских стихов вообще»:

На темно-голубом эфире

Дано мне мало Фебом:
Охота, скудный дар.
<.....>
Бреду своим путем:
Будь всякий при своем.

Последнюю строку, выделенную им курсивом, Пушкин, правда, заимствует у Жуковского (из его послания 1812 года «К Батюшкову»), заменив в нем, возможно, произвольно одно слово (у Жуковского «Будь каждый при своем»).

К тому же, следует напомнить, влияния других поэтов в лицейской поэзии Пушкина предстают в весьма сложном переплетении и всегда на основе его собственного поэтического дара. Крупнейший ученый-литературовед Г.А. Гуковский справедливо заметил: «трудно отделить в ряде случаев, где это Жуковский, где — Батюшков (да это и не нужно). В конце концов чаще всего это не Жуковский и не Батюшков, но Пушкин, близкий Жуковскому и Батюшкову»²³. Говоря об эволюции лицейской поэзии Пушкина можно даже условно определить ее как движение от Батюшкова (1813–1815) к Жуковскому (1816 – 1817).

Итак, как мы видели, с первых же шагов Пушкина в поэзии его стихи обнаруживают высокое совершенство. Это даже пугало сочувственно следивших за его достижениями старших поэтов. «Это надежда нашей словесности, — писал о Пушкине, с которым он только что познакомился в Царском Селе, Жуковский в письме Вяземскому 19 сентября 1815 года. Боюсь только, чтобы он, воображив себя зрелым, не помешал себе созреть! Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет». Но опасение это было преувеличенным; Пушкин отнюдь не был склонен к самообольщению; позднее в вариантах начала восьмой главы «Евгения Онегина», вспоминая о признании его поэтических успехов товарищами, он писал:

Они, пристрастною душой
Ревнуня к братскому союзу,
Мне первый поднесли венец,
Чтоб им украсил их певец
Свою застенчивую музу.
(V, 461; курсив мой. — Л.С.)

Как мы видели, на первых порах Пушкин-лицеист недостаток жизненного и поэтического опыта компенсировал обширным знанием литературы. И все же в лицейской поэ-

зии Пушкина уже первого ее периода встречаются попытки обобщения и собственных жизненных наблюдений. Проявляется это в произведениях, посвященных лицейской жизни, например, в стихотворении «Пирующие студенты» (1814). Поэт воспользовался здесь строфой, восходящей к «Певцу во стане русских воинов» Жуковского (возможно, Пушкин учитывал и пародийное использование этой строфы в сатире Батюшкова и А.Е. Измайлова «Певец в беседе словено-россов» (1813). Стихотворение Пушкина имеет реальную основу — в несколько гиперболизированном виде здесь воссозданы пирушки лицеистов, происходившие в комнате их преподавателя Галича. В центре стихотворения — портреты Галича и друзей Пушкина, ориентированные на воссоздание их конкретных черт. Например:

Дай руку, Дельвиг! что ты спишь?
Проснись, ленивец сонный!
Ты не под кафедрой сидишь,
Латынью усыпленный.
Взгляни: здесь крут твоих друзей;
Бутыль вином налита,
За здравье нашей музыки пей,
Парнасский волокита.
Остряк любезный, по рукам!
Полней бокал досуга!
И вылей сотню эпиграмм
На недруга и друга
(I, 53-54)

В этом образе обыгрывается житейская и литературная репутация Дельвига, бравировавшего своей ленью, в которой он хотел видеть признак истинного поэта, ориентированного на традицию преромантической поэзии. Завершает же все стихотворение своеобразная эпиграмма на бывшего притчей во языцех среди лицеистов Кюхельбекера:

Писатель за свои грехи!
Ты с виду всех трезвее;
Вильгельм, прочти свои стихи.
Чтоб мне заснуть скорее.
(I, 55)

Когда Пушкин впервые прочел свое стихотворение друзьям-лицеистам, Кюхельбекер был огорошен. Описывая реакцию первых слушателей пушкинского стихотворения, Пущин так вспоминал о впечатлении, произведенном его концовкой: «При этом взгляде публика забывает поэта, стихи его, бросается на бедного метромана, который, растаявши

под влиянием поэзии Пушкина, приходит в совершенное одурение от неожиданной эпиграммы и нашего дикого натиска»²⁴.

Показательно и большое стихотворение Пушкина «Городок» (1815). В отличие от Предыдущего оно не обращено прямо к теме лицейского быта, но и в нем воплощаются, по-видимому, какие-то собственные впечатления юного поэта, не лишённые, правда, и некоторой литературной окрашенности. «Городок» этого стихотворения, конечно, не Царское Село, но некое условное идеальное местопребывание поэта:

Философом ленивым,
От шума вдалеке,
Живу я в городке,
Безвестностью счастливым.
(I, 83)

Однако некоторые персонажи, выведенные в стихотворении, могут восходить не только к литературным, но и, возможно, жизненным впечатлениям юного лицеиста:

Оставя книг ученье,
В досужный мне часок
У добренькой старушки
душистый пью чаек... и т.д.
(I, 91)

Иль добрый мой сосед
Семидесяти лет,
Уволенный от службы
Майором отставным
Зовет меня из дружбы
Хлеб-соль откушать с ним и т.д.
(I, 92)

Стихотворение Пушкина «Городок» входит в круг произведений русской поэзии, инициированных посланием Батюшкова «Мои Пенаты», кстати, тоже восходящим к определенной западноевропейской традиции. В частности, в связи с нею появляется у Батюшкова и тема круга чтения автора-поэта, широко представленная и в пушкинском отклике:

Друзья мне — мертвецы,
Парнасские жрецы;
Над полкою простою
Под тонкою тафтою
Со мной они живут.
(I, 85)

И далее следует длинное перечисление русских и западноевропейских писателей, входящих в круг чтения автора «Городка»: это и

Вольтер, «Виргилий, Тасс с Гомером» (I, 85), Державин, Гораций, Лафонтен, Дмитриев и Крылов:

Здесь Озеров с Расином,
Руссо и Карамзин,
С Мольером-исполином
Фонвизин и Княжнин
(I, 86)

и еще ряд имен, куда входят и дядя поэта В.Л. Пушкин («И ты, замысловатый // Буянова певец» и даже... обценный поэт И.С. Барков (скрытый под условным именем Свистов). Перечень этот отражал, конечно, реальный круг чтения весьма начитанного юного поэта, может быть, отчасти и состав его ранней личной библиотеки. С другой стороны, как справедливо отметил В.Э. Вацуро, перечисление писателей в «Городке» «есть по существу литературная программа»²⁵.

Наконец, в стихотворении «Городок» появляется и мотив будущей славы поэта, варьирующий «Памятник» Державина:

Не весь я предан тленью;
С моей, быть может, тенью
Полунощной порой
Сын Феба молодой,
Мой правнук просвещенный,
Беседовать придет
И мною вдохновенный
На лире воздохнет.
(I, 89)

С темой поэта, поэтического самоопределения связано и первое напечатанное Пушкиным стихотворение — «К другу стихотворцу» (1814), обращенное, скорее всего, к Дельвигу²⁶. Автор убеждает «друга стихотворца» в тернистости поэтического пути и призывает его вовремя отказаться от звания поэта; «Быть славным — хорошо, спокойным — лучше вдвое». (I, 26) И тем не менее сам автор твердо стал на этот путь и вполне может солидаризироваться со словами своего собеседника: «И знай, мой жребий пал, я лиру избираю...» (I, 24). Об этом говорит и забавный аргумент, которым автор отвечает на ядовитую реплику адресата:

Ты о поэзии со мною толковал;
А сам, поссорившись с парнасскими сестрами,
Мне проповедовать пришел сюда стихами?
Что сделалось с тобой?
В уме ли ты иль нет?
(I, 25)

И далее приводится эпизод с подвыпившим сельским священником, в своих проповедях призывавшим прихожан отказаться от пьянства:

«И верим мы тебе; да что ж сегодня сам...»
– «Послушайте, – сказал священник мужикам, –
Как в церкви вас учу, так вы и поступайте,
Живите хорошо, а мне — не подражайте».
И мне то самое пришлось отвечать...
(I, 26)

Самоопределившись как поэт, Пушкин в своем стихотворении определяет и свою позицию в современной литературной полемике:

Творенья громкие Рифматова, Графова
С тяжелым Бибрусом гниют у Глазунова;
Никто не вспомнит их, не станет вздор читать
И Фебова на них проклятия печать.
(I, 25)

Здесь перечисляются в основном поэты-«шишковисты», активные участники пресловутой «Беседы любителей русского слова», на которых ополчились литераторы-«карамзинисты», на стороне которых были симпатии юноши Пушкина: Рифматов — кн. С.А. Ширинский-Шихматов, Графов — Д.И. Хвостов, с ними отождествляется заметный поэт конца XVIII — начала XIX века С.С. Бобров (Бибрус), которого карамзинисты считали замумным и воспринимали его как естественного союзника «беседчиков», от которых он в действительности был далек; упомянутый здесь же Глазунов — известный петербургский книгопродавец и издатель.

В борьбу с «беседчиками» Пушкин-лицеист вступает вскоре под знаменами «Арзамаса», к которому влекут его избранная им литературная ориентация, личные и даже семейные связи (дядя поэта — В.Л. Пушкин — староста возникшего в 1815 году литературного общества «Арзамас»). Свое большое послание «К Жуковскому» (1816) поэт даже подписывает «Арзамасец», хотя в «Арзамас» он формально был принят только в 1817 году. Этим он подчеркивает свою духовную связь с этим литературным обществом²⁷. Стихотворение Пушкина «К Жуковскому» — типично «арзамасское» послание, ориентированное на многие соответствующие образцы, в том числе и на «арзамасские» послания В.Л. Пушкина. Юный поэт во многом повторяет расхожие обвинения «шишковистов»-«беседчиков», не-

однократно встречающиеся в полемических выступлениях их противников:

Но что? Под грозною парнасскою скалою
Какое зрелище открылось предо мною?
В ужасной темноте пещерной глубины
Вражды и зависти угрюмые сыны,
Возвышенных творцов зоилы записные
Сидят — бессмыслицы дружины боевые.
Далеко диких лир несется резкий вой,
Варяжские стихи визжит варягов строй
<.....>
Там прозу и стихи отважно все куют,
Там все враги наук, все глухи — лишь не немые,
Те слогом Никона печатают поэмы,
Одни славянских од громады громоздят,
Другие в бешеных трагедиях хрипят и т.д.
(I, 172, 173)

М.А. Цявловский, подробно исследовавший послание Пушкина «К Жуковскому», высказал правдоподобное предположение, что это стихотворение «предназначалось открывать собою сборник стихотворений Пушкина»; этим объясняется его ««программный» характер, как и полагается стихотворению, открывающему собою первый сборник вступающего в литературу поэта»²⁸. В пушкинском послании «К Жуковскому» другой исследователь — В.Э. Вацуро видел «декларацию осознанного выбора поэзии как жизненного пути», и в этом отношении оно перекликается со стихотворением «К другу стихотворцу»²⁹.

В этом же ряду (полемическом по отношению к литературным противникам) находится и одно из заметнейших произведений Пушкина лицейского периода — большая стихотворная сатира «Тень Фонвизина» (1815). В этом стихотворении поэт открыто отправляется от традиций русской сатиры XVIII века. Тень умершего писателя в сопровождении «курьера богов» — Эрмия (Гермеса), или Меркурия возвращается на землю, в Россию, и там посещает своих еще здравствующих собратий. Имя Фонвизина не только вводится в заглавие стихотворения, но позволяет его автору прямо заявить о его связи с традицией великого русского сатирика XVIII века.

Мертвец в России очутился,
Он ищет новости какой,
Но свет ни в чем не пременился.
Все идет той же чередой...
<.....>
Вздыхнул Денис: «О Боже, Боже!
Везде я вижу то ж да то же.

Передних грозный Демосфен,
Ты прав, оратор мой Петрушка:
Весь свет бездельная игрушка,
И нет в игрушке перемен».
(I, 139, 140)

Реплика Фонвизина открыто отсылает к его сатире «Послание к слугам моим» как источнику вдохновения сатирического автора. Ср.:

«Я мысль мою скажу, - вещает мне Петрушка, -
Весь свет, мне кажется, ребятская игрушка...»
и т.д.

Главный объект сатиры Пушкина — поэты-«беседчики»; с этим, в частности, связана резкая критика позднего Державина, связавшего себя с ними членством в «Беседе...» Старый поэт противопоставлял себя карамзинской традиции, культивируя так называемый «трудный стих» в тяжеловесном «Гимне лироэпическом на прогнание французов из отечества», который в «Тени Фонвизина» пародирует Пушкин. Для наглядности приведу несколько отрывков из стихотворения Державина:

Открылась тайн священных дверь!
Исшел из бездн огромный зверь...
<.....>
О новый Вавилон, Париж!
О град мятежничьих жилищ.
Где Бога нет, кроме злата,
Соблазнов и разврата и т.д.

В своем стихотворении Пушкин вкладывает в уста Державина пародийный текст, составленный из перетасованных и несколько утрированных стихов «Гимна лироэпического...»:

«Открылась тайн священных дверь!..
Из бездн исходит Луцифер,
Смиренный, но челоперунный³⁰.
Наполеон, Наполеон!
Париж и новый Вавилон,
И кроткий агнец белорунный...
<.....>
Упал как дух Сатанаила,
Исчезла демонская сила!..
Благословен Господь наш Бог!...»
(I, 144)

Этот полубессмысленный набор слов иронически аттестуется как «статей библейских предложенье», «из гимнов гимн прямой» (I, 144). Обсуждая с Фонвизиним услышанное, Эрмий горько замечает:

«...спотыкнулся мой Державин
Апокалипсис предложить.
Денис! он вечно будет славен,
Но, ах, почто так долго жить?»
(I, 145)

Таким образом, не отрицая непреходящего значения поэзии Державина, Пушкин нелюбезно критикует его позднюю поэзию, открыто противостоящую литературным пристрастиям противников шишковской «Беседы...» Исследователь последней, М.Г. Альтшуллер справедливо замечает: «Гимн» Державина своей библейской формой полностью совпадал с идеологической и художественной позицией «Беседы», а пародия Пушкина становилась явлением не только литературной, но и идеологической борьбы». Но пародия Пушкина выходит за пределы только локальной адресованности сиюминутным противникам; В.Э. Вацуро отметил, что она «предвосхищает будущие переоценки молодым Пушкиным признанных литературных авторитетов»³¹.

Правда, следует иметь в виду, что пушкинская «Тень Фонвизина» не только не стала известна современникам, но вообще надолго затерялась и была опубликована только в середине 1930-х годов³². Возможно, Пушкин не дал хода своей сатире даже в устном и рукописном исполнении именно потому, что резкие нападки на Державина противоречили пиетету перед ним, особенно в свете недавнего столь тронувшего юного поэта эпизода с чтением им в присутствии старого поэта «Воспоминаний в Царском Селе» на памятном лицейском экзамене. Это, однако, не лишает «Тени Фонвизина» важного значения в плане участия молодого Пушкина в литературной полемике его времени. В своей сатире поэт заявлял себя как решительный и резкий сатирик и полемист. Из других «беседчиков» особенно остро он задевает пресловутого графомана Д.И. Хвостова, которого первым из «певцов российских записных» (I, 141) посещают Фонвизин и его спутник. И это не случайно; с Хвостовым, по-видимому, связан сам замысел стихотворения Пушкина. Молодой поэт мог быть знаком с его посланием «К Денису Ивановичу Фонвизину», в котором автор призывал покойного собрата вернуться на землю:

К тебе, Фон-Визин, обращаю
Я в царство мертвых лиры глас...
<.....>

Покинь предел гробницы *мрачной*
И научи нелепых чад...

<.....>

Оставь на час жилище хладно,
Мы улыбнемся хоть на час... и т.д.
(курсив мой – Л.С.).

И вот, в стихотворении Пушкина Фонвизин откликается на эту просьбу и является к своему еще живому собрату:

И в две минуты опустились
Хвостову прямо в кабинет.
Он не спал; добрый наш поэт
Унизывал на случай оду,
Как божий мученик кряхтел,
Чертил, вычеркивал, потел.
Чтоб стать посмешищем народу.

<.....>

«Фонвизин! Ты ль передо мною?
Помилуй, ты... конечно, он»
— «Я, точно я, меня Плутон
Из *мрачного* теней жилища
С почетным членом адских сил
Сюда на время отпустил.»
(I, 141; курсив мой. – Л.С.).

Правда, сама исходная ситуация пушкинского стихотворения — тень писателя — достаточно традиционна; почти одновременно с «Тенью Фонвизина» Пушкин создает непристойную балладу «Тень Баркова», в которой, кстати, близким образом выведен и корпящий над сочинением очередной оды граф Хвостов. И все же соотносительность «Тени Фонвизина» с хвостовским посланием представляется наиболее очевидной³³.

С конца 1815 года и в особенности в 1816 году лицейская поэзия Пушкина вступает на новый путь: прежнюю, в основном «батьюшковскую» ориентацию сменяет восходящее главным образом к Жуковскому элегическое направление. Кстати, и «Тень Фонвизина» завершается упрекам Батюшкову в якобы пренебрежении поэзией:

...лени связанный уздою,
Он только пьет, смеется, спит
И с Лилой нежится младою,
Забыв совсем, что он пиит.

И в концовке пушкинской сатиры Фонвизин «про себя ворчит»:

«Когда Хвостов трудиться станет,
А Батюшков спокойно спать,
Наш гений долго не восстанет,

И дело не пойдет на лад».
(I, 146)

Итак, в последние годы пребывания Пушкина в Лицее (1816–1817) его поэзия существенно изменяется. Теперь поэт обращается преимущественно к традиции новой, преромантической элегии, в России восходившей к творчеству Жуковского («Мечты», 1812; но еще и ранние элегии «Сельское кладбище», 1802; «Вечер», 1806 и др.). К Жуковскому, в частности, восходит характерный элегический мотив тоски по утраченной юности: «О дней моих весна златая, // Постой... тебе возврата нет...» («Мечты»); ср. еще в «Вечере»: «О дней моих весна, как быстро скрылась ты // С твоим блаженством и страданьем!» и т.д. Позднее (1822) Пушкин иронически заметит: «С воспоминаниями о протекшей юности литература наша далеко вперед не подвинется» (VI, 13); но в лицейских элегиях к этому расхожему элегическому мотиву он возвращается неоднократно. Например: «...погасающий светильник юных дней // Ничтожества спокойный мрак осветит» («Элегия»: «Я видел смерть; она в молчанье села...»; I, 189); «Украдкой юность отлетает, // И след ее — печали след» («Наслажденье»; I, 195) и др. Но Пушкин еще слишком юн, поэтому он не сосредоточивается на этом мотиве, заимствуя из традиционной элегии главным образом ее меланхолическую тональность (Ф. Шиллер определял элегию как «поэтическую жалобу»). Авторский образ пушкинских лицейских элегий 1816–1817 годов — это молодой человек, разочарованный жизнью и страдающий от неразделенной любви, готовый искать утешения в смерти. Например:

Я говорил? «Не вечная разлука
Все радости уносит ныне вдаль.
Забудемся, в мечтах потонет мука;
Уныние, губительная скука
Пустынника приют не посетят;
Мою печаль услодой муза встретит;
Утешусь я — и дружбы тихий взгляд
Души моей холодный мрак осветят».
(«Разлука»; 1816; I, 176)

В глуши долин, в печальной тьме лесов,
Один, один брожу уныл и мрачен.

<.....>

Прервется ли души холодный сон,
Поэзии зажжется ль упоенье, —
Родится жар, и тихо стынет он:
Бесплодное проходит вдохновенье.
(«Любовь одна — веселье жизни хлад-

ной...»; 1816; I, 188)

Именно эта общность эмоционального тона и лирического субъекта объединяет лицейские элегии Пушкина, придавая им определенное единство, а не биографическая приуроченность, как нередко полагают. Правда, поскольку в соответствии с традицией поэт в своих элегиях обращается к любовной теме, действительно было важно, что он мог здесь опереться уже и на собственные эмоциональные переживания (характерной особенностью новой элегии было именно придание любовному чувству индивидуального оттенка); но воплощает он их преимущественно в условной форме, хотя конкретность реальных переживаний тоже ощутима. Дело в том, что юный лицеист Пушкин влюбился в старшую сестру одного из его соучеников Е.П. Бакунину; живя с матерью в Царском Селе, она неоднократно посещала брата в Лицее и общалась также и с его товарищами. Об увлечении ею Пушкина вспоминали впоследствии бывшие лицеисты С.Д. Комовский³⁴ и Пуцин, который, говоря о стихотворении Пушкина «К живописцу», заметил: «Эти стихи — выражение не одного только страдавшего тогда сердечка»³⁵. Неразделенное чувство к Бакуниной надолго запомнилось и Пушкину. В 1825 году в вариантах стихотворения «19 октября» он писал: «Мы вспомнили б <...> Как мы впервой все трое полюбили, // Наперсники, товарищи проказ...» (II, 351). «Все трое» — это Пушкин, Пуцин и Малиновский; но в Бакунину был влюблен по крайней мере еще и Илличевский, выразивший свое чувство в ответном послании Пушкину «От живописца».

Влюбленность Пушкина в Бакунину не прошла мимо внимания пушкинистов. Было даже выработано представление о «бакунинском цикле» пушкинской лирики, что характерно для литературного сознания символистов. Не случайно именно В.Я. Брюсов поместил в первом томе Венгеровского издания сочинений Пушкина статью «Первая любовь Пушкина (Е.П. Бакунина)»³⁶. К «бакунинскому циклу» Брюсов отнес свыше двадцати стихотворений Пушкина, которые он рассматривал как своего рода роман, даже с «главами» (всего три). Впрочем, такая циклизация вокруг одного женского образа, подчас безымянного или названного условным поэтическим именем, характерна для французской элегической традиции еще конца XVIII века (Э. Парни

и др.). Говоря о характерной для новой элегии циклизации, Б.В. Томашевский отмечал, что элегические циклы «превратились в страницы одного романа, отдельные сцены одной драмы»³⁷. Но Брюсов (как и некоторые другие исследователи) сильно преувеличил биографическую основу стихотворений Пушкина 1815–1817 годов, привязав к «бакунинскому циклу» практически все лицейские элегии Пушкина. На самом деле непосредственно с Бакуниной связаны всего лишь несколько стихотворений поэта. Кроме того, Брюсов сильно преувеличил характер и значение юношеского романа Пушкина. Скорее можно согласиться с автором напумевшей в 1920-е годы книги «Дон-Жуанский список Пушкина» П.К. Губером: «...более чем вероятно, что весь этот типично-юношеский роман повлек за собою лишь несколько мимолетных встреч на крыльце или в парке». С этим вполне согласуется дневниковая запись Пушкина 1815 года:

«29 ноября.

Итак я счастлив был, итак я наслаждался,
Отрадой тихою, восторгом упивался...
И где веселья быстрый день?
Промчался летом сновиденья,
Увяла прелесть наслажденья,
И снова вкрут меня угрюмой скуки тень!..
Я счастлив был!., нет, я вчера не был счастлив, поутру я мучился ожиданьем, с неописанным волнением стоя под окошком, смотрел на снежную дорогу — ее не видно было! Наконец я потерял надежду, вдруг нечаянно встречаюсь с нею на лестнице, — сладкая минута!..

Он пел любовь, но был печален глас,
Увы! он знал любви одну лишь муку!

Жуковский.

Как она мила была! как черное платье пристало к милой Бакуниной!

Но я не видел ее 13 часов — ах! какое положение, какая мука! —

Но я был счастлив 5 минут — »
(VIII, 9-10)

Запись эта чрезвычайно интересна. С одной стороны, в ней находит непосредственное выражение наивная восторженность чувств юного влюбленного, стремящегося передать целую гамму ощущений, которые порождает мысль о предмете его любви: волнение ожидания, радость короткой встречи с ней... По словам исследователя автобиографической прозы Пушкина Я.Л. Левкович, «вся

шкала волнений влюбленного присутствует на его <дневника Пушкина 1815 года> страницах³⁸. Но, с другой стороны, поэт строит свою дневниковую запись и как художественный текст. Первый прозаический фрагмент он обрамляет стихами — своими («Итак я счастлив был, итак я наслаждался...») и — что особенно показательно — Жуковского. Стихотворение Пушкина, предпосланное прозаическому тексту, как раз открывает так называемый «бакунинский цикл» его лицейской поэзии; как и последующие элегии 1816 года, оно ориентировано на поэзию Жуковского, поэтому цитата из стихотворения последнего «Певец» (1811) оказывается как бы камертоном, настраивающим тональность всего текста дневниковой записи, в частности ее заключительного фрагмента, но особенно открывающего запись 29 ноября пушкинского стихотворения. Впрочем, называют еще один возможный источник Пушкина: стихотворение И.И. Дмитриева «Стансы» («Я счастлив был во дни невинности сердечной...»; 1805); но его воздействие ограничено, поскольку написано оно в совершенно другой манере и требовало перевода в другую, восходящую уже к поэзии Жуковского элегическую тональность³⁹. Совмещение со стихами обуславливало повышенную эмоциональность и прозаической части записи, придавая всему контексту более или менее однородное звучание⁴⁰.

Эмоциональная напряженность первой серьезной влюбленности оставила след и в позднейшей поэзии Пушкина. В вариантах начальных строф восьмой главы «Евгения Онегина» он возвращался к этому эпизоду своей юности, реконструировал свои тогдашние ощущения:

В те дни... в те дни, когда впервые
Заметил я черты живые
Прелестной девы и любовь
Младую взволновала кровь
И я, гонимый безнадежно,
Томясь обманом пылких снов.
Везде искал ее следов,
Об ней задумывался нежно,
Весь день минутной встречи ждал
И счастье тайных мук узнал.
(V, 460)

Любопытно, что эти написанные на рубеже 1830-х годов стихи явно перекликаются и с приведенной выше дневниковой записью

1815 года и с элегиями 1816 года. Ср, например, в элегии «Осеннее утро»:

Уж нет ее... я был у берегов,
Где милая ходила в вечер ясный;
На берегу, на зелени лугов
Я не нашел чуть видимых следов,
Оставленных ногой ее прекрасной.
(I, 176)

Трудно, конечно, предположить, что, создавая строки «романа в стихах», Пушкин сверялся с рукописями своих неопубликованных текстов 1815 — 1816 годов, скорее здесь можно говорить о «памяти сердца».

В своих лицейских элегиях Пушкин более всего отпирался от сложившейся поэтической традиции (особенно так называемой «унылой элегии») ⁴¹, в них часто встречаются трафаретные формулы (своего рода поэтика повторяемости вообще характерна для жанра элегии); поэтому их и не следует жестко привязывать к реальному чувству, хотя то, что оно действительно было, помогло Пушкину в том, что он, по словам Б.В. Томашевского, «овладел языком чувства» ⁴². Влюбленность юного поэта в Бакунину важна именно как импульс, породивший лицейские элегии Пушкина, которые строились уже вне прямого отражения реальности; нельзя поэтому, как это делал В. Брюсов, прямо реставрировать историю его юношеского романа по пушкинским текстам.

Но мне в унылой жизни нет
Отрады тайных наслаждений;
Увял надежды ранний цвет:
Цвет жизни сохнет от мучений!
Печально младость улетит,
Услышу старости угрозы.
Но я, любовью позабыт,
Моей любви забуду ль слезы!
(«Элегия»: «Счастлив, кто в страсти сам себе...»; I, 182)

Подобные изливания, разумеется, весьма далеки от действительных переживаний юноши Пушкина, зато они характерны для устойчивых мотивов «унылой элегии». В элегиях 1816 года зреет поэтическое мастерство Пушкина, все более проявляется и его самостоятельность. Вершиной пушкинских лицейских элегий является стихотворение 1816 года «Желание»:

Медлительно влекутся дни мои,
И каждый миг в унылом сердце множит
Все горести несчастливой любви

И все мечты безумия тревожит.
 Но я молчу; не слышен ропот мой;
 Я слезы лью; мне слезы утешенье;
 Моя душа, плененная тоской,
 В них горькое находит наслажденье.
 О жизни час! лети, не жаль тебя,
 Исчезни в тьме, пустое привиденье;
 Мне дорого любви моей мученье —
 Пускай умру, но пусть умру любя!

От этого стихотворения Белинский вел отсчет подлинной пушкинской поэзии; в этой «маленькой элегии, — писал он, — уже виден будущий Пушкин — не ученик, не подражатель, а самостоятельный поэт»⁴³. Впрочем, Г.А. Гуковский удачно назвал это стихотворение Пушкина «шедевром пушкинской учебы у Жуковского»⁴⁴. Иными словами, это стихотворение, свидетельствующее о высоте поэтического дара автора, достигшего уже порога зрелости; но вместе с тем это и произведение, явно манифестирующее зависимость от поэтической системы, к которой оно восходит. Воистину «шедевр», то есть произведение высокого поэтического совершенства, но и «шедевр учебы»...

Еще в Лицее проявляются и попытки преодоления односторонней элегической направленности. В этом отношении показательно стихотворение 1817 года «Князю А.М. Горчакову» («Встречаюсь я с осьмнадцатой весной...»). Оно написано в жанре «высокого» послания, но авторский образ в нем строится на основе лирического героя элегий:

Душа полна невольной, грустной думой;
 Мне кажется: на жизненном пиру
 Один с тоской явлюсь я, гость утрюмый,
 Явлюсь на час — и одинок умру.

И тем не менее поэт не склонен сосредоточиться на этих традиционно-элегических настроениях, напротив, он стремится найти выход из них:

Но что?.. Стыжусь!.. Нет, ропот — униженье.
 Нет, праведно богов определенье!
 Ужель лишь мне не ведать ясных дней?
 Нет! и в слезах сокрыто наслажденье,
 И в жизни сей мне будет утешенье
 Мой скромный дар и счастье друзей.
 (I, 225)

Послание Горчакову относится к числу так называемых «прощальных» стихотворений Пушкина 1817 года. Находясь на пороге новой жизни, поэт оглядывается на покидае-

мый Лицей, стремясь найти в нем опору для будущего. В этих стихотворениях тема Лицея утрачивает «домашний» характер и утверждается как общезначимая тема. В них появляется мотив лицейского братства, навсегда связавшего поэта и его друзей:

Прости! Где б ни был я: в огне ли смертной
 битвы,
 При мирных ли брегах родимого ручья,
 Святому братству верен я.
 (I, 232)

Так писал Пушкин в стихотворении «Разлука», первоначально (1820) опубликованном под заглавием «Кюхельбекеру». Ср. стихотворение «В альбом Пушину», при жизни автора не публиковавшееся:

...с первыми друзьями
 Не резовою мечтой союз твой заключен;
 Пред грозным временем, пред грозными
 судьбами
 О милый, вечен он!
 (I, 231)

Именно публикация первого из названных стихотворений подала повод В.Н. Каразину в доносе, обвинявшем, как мы видели, лицейстов первого выпуска в вольнодумстве, усмотреть в утверждавшемся поэтом «святом братстве» какой-то подозрительный союз наподобие масонской ложи. В центре этого своеобразного «прощального цикла» 1817 года стоит стихотворение «Товарищам»; обращаясь ко всем выпускникам-лицеистам, поэт говорит в нем о разных судьбах, ожидающих каждого из них. Себе же он отводит часть независимого вольнодумца.

Друзья! немного снисхожденья —
 Оставьте красный мне колпак,
 Пока его за прегрешенья
 Не променял я на шишак.
 Пока ленивому возможно,
 Не опасаясь грозных бед,
 Еще рукой неосторожной
 В июле распахнуть жилет.
 (I, 228-229)

Впрочем, указание на «красный колпак» может означать и более локальное обстоятельство — членство в «Арзамасе», где тот выступал непременным атрибутом участников этого литературного объединения.

Об этом стихотворении Белинский сказал: в нем «веет дух, уже совершенно чуждый

прежней поэзии. И стих, и понятие и способ выражения — все ново <...>, все имеет корнем своим простой и верный взгляд на действительность, а не мечты и фантазии, облеченные в прекрасные фразы»⁴⁵. Действительно, в стихотворениях, завершающих лицейскую поэзию, определяется выход Пушкина на собственную дорогу. Период ученичества был закончен.

Но и произведения Пушкина так называемого «петербургского периода» (1817 – 1820) могут быть причислены к переходному — по отношению к зрелому творчеству поэта — этапу. В центре его — первая законченная поэма Пушкина «Руслан и Людмила», и с этого времени именно стихотворный эпос (а позднее и проза) начинает играть определяющую роль в развитии творчества Пушкина; лирика отодвигается на второй план и служит своего рода фоном эпического творчества поэта. В лирике же «петербургского периода» преобладает утверждение активного вольнолюбия как доминанты пушкинской поэзии этого времени. На первом плане в лирике поэта 1817 – 1820 годов оказываются политические стихотворения; но отнюдь не они только манифестируют вольнолюбие автора — оно проявляется во всем, им написанном, а также и в самом образе жизни Пушкина — и реальном, и утверждаемом в стихах как идеал общественного поведения.

Вывавшись на свободу после шестилетнего «заточенья» (см. I, 228), Пушкин жадно приобщается к свободному времяпрепровождению в среде светской «золотой молодежи». Служба его (поэт был зачислен в Коллегию иностранных дел с невысоким чином коллежского секретаря⁴⁶) носила номинальный характер и отнюдь не тяготила Пушкина, предоставляя ему почти неограниченную свободу, Л.С. Пушкин в своих воспоминаниях о брате писал: «По выходе из Лицея Пушкин вполне воспользовался своею молодостью и независимостью. Его по очереди влекли к себе то большой свет, то шумные пиры, то закулисные тайны. Он жадно, бешено предавался всем наслаждениям. Круг его знакомства и связей был чрезвычайно обширен и разнообразен»⁴⁷. «Петербургский период» в жизни Пушкина Н.Н. Милюков удачно назвал ««бешеным» интермеццо» (музыкальный термин, буквальное значение слова «находящийся посреди»)»⁴⁸. Весь этот свободный образ жизни нашел широкое воплощение в поэзии Пушки-

на 1817– 1820 годов. Жизненные впечатления, полученные поэтом в Петербурге, питали его творчество, и не только «петербургского периода». По точному определению современных исследователей (И.З. Сураг и С.Г. Бочарова) о Пушкине этого времени: «Если в Лицее он довольствовался в основном литературным опытом, то теперь активно и осознанно приобретал разнообразный жизненный опыт — и то, и другое в равной мере оказалось востребовано его даром, служило личному становлению и творческому росту»⁴⁹. Бурная, беспорядочная жизнь, конечно, несколько ограничивала творческие возможности поэта: в 1817 – 1820 годах он написал меньше, нежели в такое же время в Лицее. Биограф Пушкина А.В. Тыркова-Вильямс определяет «петербургский период» как «скорее годы собирания, накопления, выучки, а не творчества»⁵⁰. И все же в это короткое время между Лицеем и ссылкой Пушкиным было написано немало значительного. Не говоря уже о «Руслане и Людмиле», и в лирике поэта обнаруживаются важные тенденции, имевшие далеко идущие последствия. Прежде всего усиливается автобиографизм пушкинской поэзии; авторский образ лирики приобретает предельную биографическую конкретность, связан непосредственно с реалиями жизни поэта:

А я, повеса вечно-праздный,
Потомок негров безобразный,
Взращенный в дикой простоте,
Любви не ведая страданий,
Я нравлюсь юной красоте
Бесстыдным бешенством желаний...
(II, 42)

Так писал о себе Пушкин в написанном на излете петербургского периода, по-видимому, весной 1819 года накануне отъезда, из Петербурга на юг стихотворении, обращенном к его тогдашнему приятелю Ф.Ф. Юрьеву, как и сам поэт, входившему в состав участников «Зеленой лампы». В биографически-насыщенном авторском образе этого стихотворения особенно важна одна деталь: «потомок негров безобразный...» Экзотическое происхождение прадеда поэта А.П. Ганнибала, издавна занимавшее воображение Пушкина, его великого потомка, надолго станет одной из константных биографических реалий, закрепившейся в чередě произведений вплоть до 1830 года. Приведу еще один пример. Летом 1817 года Пушкин совершает поездку в имение своей матери

Михайловское Псковской губернии и во время ее впервые знакомится с обитателями соседнего Тригорского. В альбом его владелицы П.А. Осиповой он вписывает стихотворение «Простите верные дубравы...»:

Прости, Тригорское, где радость
 Меня встречала столько раз!
 <.....>
 Быть может (сладкое мечтанье!),
 Я к вашим возвращусь полям,
 Приду под липовые своды,
 На скат тригорского холма,
 Поклонник дружеской свободы,
 Веселья, граций и ума.
 (II, 276)

Это одно из первых стихотворений, написанных после окончания Лицея, и оно интересно именно тем, что авторский образ в нем сознательно ориентирован не только на воссоздание биографически-определенной характеристики поэта (последние два стиха), но и на введение конкретных топографических реалий. Конечно, пока это «домашнее» стихотворение, не предназначавшееся для печати; но как тенденция конструирования авторского образа лирики оно вполне показательное.

Главное, что определяет облик «петербургской» лирики Пушкина — это утверждение свободного образа жизни (тоже с обязательной ориентацией на биографическую конкретность), ради которой можно пожертвовать даже творчеством:

Что нужды, если и с ошибкой
 И слабо иногда пою?
 Пускай Нинета лишь улыбкой
 Любовь беспечную мою
 Воспламенит и успокоит!
 А труд и холоден и пуст;
 Поэма никогда не стоит
 Улыбки сладострастных уст.

Конечно, этой концовке послания 1817 года «Тургеневу» (Ал. Ив. — давнему знакомому Пушкина, принимавшего участие в его поступлении в лицей), хотя она и имеет характер озорной декларации (последние два стиха), не следует придавать безусловного значения, но она показательна как утверждение новых ценностей, исповедуемых молодым поэтом. О самодостаточности свободного образа жизни Пушкин пишет в своих посланиях «О. Массон», «N.N. (В.В. Энгельгардту)» «К Щербинину» и др. Обстоятельства жизни Пушкина

на «петербургского периода» естественно влекут за собой мотивы жизнеутверждения, и это возвращает его к отвергнутой было в поздней лицейской лирике поэтической традиции Батюшкова. Кульминацией «батюшковских» мотивов лирики Пушкина этого времени оказывается один из ее шедевров — стихотворение «Кривцову» (1817), обращенное к одному из старших петербургских друзей поэта:

Пусть остылой жизни чашу
 Тянет медленно другой:
 Мы ж утратим юность нашу
 Вместе с жизнью дорогой...
 <.....>
 Смертный миг наш будет светел;
 И подруги шалунов
 Соберут их легкий пепел
 В урны праздные пиров,
 (I, 289)

Очевидна переключка этого пушкинского стихотворения с концовкой «Моих Пенатов» Батюшкова; но одновременно заметно, насколько Пушкин-поэт превзошел уже к этому времени своего предшественника.

В условиях жизни Пушкина в Петербурге после Лицея естественно и стремление поэта, если и не отказаться совсем от «унылой элегии» то в значительной мере отойти от нее (тенденция эта, как мы видели, наметилась еще в конце лицейского периода). И все же поэт по-прежнему отдает ей дань в стихотворении «К***» («Не спрашивай, зачем унылой думой...»):

Не спрашивай, зачем душой остылой
 Я разлюбил веселую любовь
 И никого не называю *милой* —
 Кто раз любил, уж не полюбит вновь;

Кто счастье знал, уж не узнает счастья.
 На краткий миг блаженство нам дано:
 От юности, от нег и сладострастья
 Останется уныние одно...
 (I, 280)

Стихотворение это в автографе так и называлось «Уныние» и было датировано 27 ноября 1817 года. Вскоре, по-видимому, в конце того же года Пушкин пишет стихотворение «К ней», в котором традиционные элегические настроения преодолеваются введением мотива жизнеутверждения:

В печальной праздности я лиру забывал,
 Воображение в мечтах не разгоралось,

С дарами юности мой гений отлетал,
 И сердце медленно хладело, закрывалось.
 Вас вновь я призывал, о дни моей весны...
 <.....>
 Но вдруг, как молнии стрела,
 Зажглась в увядшем сердце младость,
 Душа проснулась, ожила,
 Узнала вновь любви надежду, скорбь и радость.
 Все снова расцвело! Я жизнью трепетал...
 <.....>
 Вновь лиры сладостной раздался голос юный,
 И с звонким трепетом воскреснувшие струн-
 Несу к твоим ногам!..
 (I, 282)

Так намечается выход поэта из, по словам Б.П. Городецкого, «элегического тупика, в каком оказалась лирика Пушкина в последние лицейские годы»⁵¹. Альтернативой элегических мотивов в первые послелицейские годы становится тема беспечного и веселого времяпрепровождения, включающая в себя и вольнолюбивые ассоциации, в том числе и политические:

Я люблю вечерний пир,
 Где веселье председатель,
 А свобода, мой кумир,
 За столом законодатель...
 (I, 325)

Эти строки стихотворения 1818 года «Вечерний пир» очень показательны для поэзии Пушкина этого времени. Слово «свобода» может пониматься очень широко; но включает в себя и политический аспект, впрочем, в данном контексте отнюдь не преобладающий. «Свобода» у Пушкина — слово полисемантическое, включающее разнообразные оттенки значения. «Свобода принадлежит к основным стихиям пушкинского творчества и, конечно, его духовного существа. Без свободы немислим Пушкин и значение ее выходит далеко за пределы политических настроений поэта», — писал Г.П. Федотов в замечательной статье «Певец империи и свободы»⁵². В стихотворениях Пушкина «петербургского периода» слово «свобода» всегда окружено ореолом значений, связывающих его с представлением о свободе поведения, не ограниченного никакими рамками. Очень явно предстает это в ряде стихотворений, связанных с темой «Зеленой лампы», литературного общества, в которое, наряду с «Арзамасом», входил и Пушкин. В круг его друзей этого времени вовлечены и его сочлены по «Зеленой лампе», к которым об-

ращены упоминавшиеся уже послания «N.N. (В.В. Энгельгардту)», «Юрьеву» и др. Не буду подробнее говорить здесь об этом обществе и участии в нем Пушкина; сведения об этом можно почерпнуть из литературы⁵³. Остановлюсь лишь на том образе «Зеленой лампы», который возникает в поэтических обращениях Пушкина к «лампистам»:

Здорово, рыцари лихие
 Любви, свободы и вина!
 Для нас, союзники младые,
 Надежды лампа зажжена.

(«Юрьеву», 1819; I, 345; зеленый — цвет надежды).

Любопытно здесь то, что слово «свобода» включено в своеобразный синонимический ряд с «любовью» и «вином», то есть с теми утверждаемыми поэзией Пушкина ценностями, которые связаны для него с идеалами жизнеутверждения и свободного образа жизни. Но одновременно слово «свобода» легко включает в себя и представление о политическом вольномыслии. Завершая послание «N.N.» обращенное к его приятелю В.В. Энгельгардту (участие последнего в «Зеленой лампе» достоверно не подтверждается⁵⁴, но по характеру общения с ним Пушкина можно предполагать близость адресата стихотворения к этому литературному обществу), поэт писал:

С тобою пить мы будем снова,
 Открытым сердцем говоря
 Насчет глупца, вельможи злого,
 Насчет холопа записного,
 Насчет небесного царя,
 А иногда насчет земного
 (I, 314)

Таким образом, в круг тем, занимающих друзей Пушкина и его самого входит и религиозное и политическое вольнодумство, как раз и предполагаемое той «свободой», из представления о которой они исходят. В другом стихотворении 1819 года («Послание к кн. Горчакову»), обращенном к недавнему лицейскому товарищу, аттестуемому теперь как «большого света друг», высшему обществу резко противопоставляется круг новых друзей поэта («...мирный круг, // Где, красоты беспечный обожатель, // Я провожу незнаемый досуг»):

И, признаюсь, мне во сто крат милее
 Младых повес счастливая семья,
 Где ум кипит, где в мыслях волен я,
 Где спорю вслух, где чувствую живее,

И где мы все — прекрасного друзья,
 Чем вялые, бездушные собранья,
 Где ум хранит невольное молчанье,
 Где холодом сердца поражены
 <.....>
 Где глупостью единой все равны.
 (I, 335)

И в то время, когда в высшем обществе царят приличие и натянутость —

Тогда, мой друг, забытых шалунов
 Свобода, Вакх и музы угощают.
 Не слышу я бывало — острых слов,
 Политики смешного лепетанья,
 Не вижу я изношенных глупцов,
 Святых невежд, почетных подлецов
 И мистики придворного кривлянья!..
 (I, 336)

И в этом контексте слово «свобода» оказывается в новом синонимическом ряду с «Вакхом» (то есть с тем же «вином») и «музами». Совмещение «свободы» с поэзией предполагает заостренность последней: вольнолюбие бытовое тесно смыкается с политическим свободомыслием, поскольку поэт резко задевает здесь нравы высшего придворного общества, угодливо разделявшего увлечение царя мистицизмом.

«Сюжет этого послания, — справедливо заключает Е.Г. Эткинд, подробно проанализировавший это стихотворение Пушкина, — противопоставление безобразной глупости большого света содержательной красоте круга просвещенной интеллигенции»⁵⁵. И эта «просвещенная интеллигенция» (последнее слово для пушкинской эпохи несколько анахронично), конечно же, как и сам поэт, оппозиционна по отношению не только к «вялым, бездушным собраниям» «большого света», но и вообще к властям предрержащим.

В Петербурге конца 1810-х годов Пушкин живет в обстановке глубокого идейного брожения: это было время деятельности первых декабристских организаций — Союза Спасения и Союза Благоденствия. Поэт близко знаком со многими деятелями тайных декабристских обществ: не говоря уже о его лицейских друзьях Пушине и Кюхельбекере, тесные отношения завязываются у него с Н.И. Тургеневым, К.Ф. Рылевым, А.А. Бестужевым, Ф.Н. Глинкой; еще в Петербурге начинается его общение с И.Д. Якушкиным и М.Ф. Орловым; позднее, уже на юге знакомится он и с П.И.

Пестелем... Вообще число знакомых Пушкину декабристов исчисляется десятками (Ю.Г. Оксман полагал, что полный их список «должен был бы заключать около полутораста фамилий»). Позднее в так называемой «десятой главе» «Евгения Онегина» Пушкин упомянул себя в ряду заговорщиков-декабристов:

Читал свои Ноэли Пушкин,
 Меланхолический Якушкин,
 Казалось, молча обнажал
 Цареубийственный кинжал.
 Одну Россию в мире видя,
 Преследуя свой идеал,
 Хромой Тургенев им внимал
 И, плети рабства ненавидя,
 Предвидел в сей толпе дворян
 Освободителей крестьян.
 (V, 183)

Вероятно, это поэтическое преувеличение; но вполне возможно, что Пушкин действительно читал декабристам свои политические стихотворения на их, конечно, не конспиративных собраниях. Пушкин не был членом тайных обществ декабристов, что связано с рядом обстоятельств; но идейно он был близок к ним, более того, его свобододолюбивая лирика, широко распространявшаяся в декабристских кругах, играла немалую роль в воспитании молодых революционеров.

Проблема «Пушкин и декабристы» — большая и очень важная тема⁵⁶; в современном пушкиноведении она несколько приглушена, что объясняется отталкиванием от односторонних схем и преувеличенного внимания к ней в советских условиях; но это не означает утраты ее научной актуальности: напротив, объективное и непредвзятое обращение к этой теме позволит открыть новые горизонты в ее исследовании.

Таким образом, освещая творчество Пушкина «петербургского периода» невозможно обойти вопрос об отношении поэта к декабристам. Его вольнолюбивая лирика этой поры недвусмысленно говорит о том, что Пушкин разделял многие политические идеи первых русских революционеров. Поэт никогда не отказывался от этого своего прошлого, о чем красноречиво свидетельствует отсылка к оде «Вольность» в стихотворении 1836 года «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Тем не менее не следует преувеличивать степень близости Пушкина к декабристской идеологии, на чем базировался советский миф о

нем. Стоит прислушаться, например, к суждению П.А. Вяземского, утверждавшего, что поэт «часто был эолова арфа либерализма на пиршествах молодежи и отзывался теми веяниями, теми голосами, которые налетали на него. Не менее того он был искренен; но не был сектатором в убеждениях или предубеждениях своих <...> Он любил чистую свободу, как любить ее должно <...> Но из того не следует, чтобы каждый свобододолюбивый человек был бы непременно и готовым революционером. Политические сектаторы двадцатых годов очень это чувствовали <...> они не находили в нем готового соумышленника, и, к счастью его самого и России, они оставили его в покое, оставили в стороне».

Не со всем здесь можно согласиться. Вяземский насколько упрощенно подошел к вопросу об отражении Пушкиным политических идей декабристов. Поэт не просто «отзывался <...> голосами, которые налетали на него»; но вполне искренне разделял убеждения, которые он проводил в своих стихах. И тем не менее Вяземский прав, подчеркивая, что Пушкин «не был сектатором в убеждениях своих». Это, действительно, решительно разделяло его и декабристов, и не только в эстетической, но и политической сфере. Революционная целеустремленность, фанатизм не были свойственны Пушкину, и в этом отношении он во многом расходился с декабристами, которые, однако, понимая значение великого таланта поэта, старались направить его в сторону политического свободомыслия, и тут они, действительно, многого добились. Очень показательны в этом отношении слова С.И. Тургенева, младшего брата декабриста Н.И. Тургенева, во многом разделявшего его политические взгляды. В своем дневнике С. Тургенев записал: «Мне опять пишут о Пушкине как о разворачивающемся таланте. Ах, да поспешат ему вдохнуть либеральность и вместо оплакивания самого себя пусть первая песнь его будет: Свобода!» Начало первого большого политического стихотворения Пушкина оды «Вольность» как бы откликается на этот призыв: поэт отказывается здесь от элегического направления, противопоставляя ему открытую политическую проблематику:

Беги, сокройся от очей,
Цитеры слабая царица!
Где ты, где ты, гроза царей,
Свободы гордая певица?

Приди, сорви с меня венок.
Разбей изнеженную лиру...
Хочу воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок.

Здесь очевиден налет свойственного декабристской поэзии ригоризма, в общем не свойственного Пушкину, гораздо шире смотревшему на цели, задачи и возможности поэзии; но, приступая к созданию открыто политического стихотворения, поэт счел возможным тактически солидаризироваться с чуждой ему точкой зрения.

Ода Пушкина «Вольность» — не только первое по времени, но и самое заметное из его политических стихотворений конца 1810-х годов. Ее — «наиболее значительную из русских од» — В.В. Набоков справедливо оценивал как «первое его <Пушкина> великое произведение»⁵⁷. Написана она была скорее всего в конце 1817 года, спустя несколько месяцев после окончания Лицея. Правда, вопрос о времени создания «Вольности» оказался предметом дискуссий. Сам Пушкин последовательно датировал ее 1817 годом; но эту дату неоднократно пытались оспорить, настаивая на более позднем сроке (1819), так как якобы невозможно согласовать содержание «Вольности» с более ранней датой. Однако наиболее весомые аргументы представили защитники пушкинской датировки; из этой даты исходит и автор подготовленной для «Пушкинской энциклопедии» статьи И.С. Чистова⁵⁸. С 1817 годом вполне согласуется содержание политической концепции пушкинской «Вольности», в значительной мере восходящей к недавним урокам А.П. Куницына, читавшего в Лицее курс естественного права; одновременно тесно связана она и с воздействием на Пушкина видного декабриста Н.И. Тургенева, представлявшего либеральное крыло декабристской идеологии. С ним, как и с его старшим братом, своим давним знакомцем А.И. Тургеневым, поэт тесно сблизился в первые же месяцы пребывания в Петербурге в 1817 году⁵⁹. Важны для Пушкина — автора «Вольности» — и литературные впечатления. Уже заглавие стихотворения «Вольность. Ода» — полностью совпадает с одноименным стихотворением А.Н. Радищева, от которого Пушкин больше отталкивался, нежели продолжал его традицию. Сказывается это в особенности в решительном расхождении Пушкина с Радищевым в принципиально важном для того вопросе о суверенитете наро-

да, располагающего правом суда над монархом.

Я чту, Кромвель, в тебе злодея,
Что, власть в руке своей имея.
Ты твердь свободы сокрушил;
Но научил ты в род и роды,
Как могут мстить себя народы:
Ты Карла на суде казнил, —

писал Радищев в своей оде «Вольность». Пушкин же аналогичный исторический эпизод (казнь Людовика XVI во время Французской революции) расценивает совсем по-другому:

Восходит к смерти Людовик
В виду безмолвного потомства,
Главой развенчанной приник
К кровавой плахе Вероломства.
Молчит Закон — народ молчит.
Падет преступная секира...
И се — злодейская порфира
На галлах скованных лежит.
(I, 284)

Цареубийство, пусть и по приговору революционного суда, таким образом, рассматривается как незаконное, преступное действие, и последующая тирания Наполеона, в глазах поэта, является наказанием народу за совершенное им самоуправство. Более того, в пушкинской оде «Вольность» с осуждением говорится и о цареубийстве 11 марта 1801 года, гибели Павла I от рук заговорщиков, хотя сама жертва этого преступления, в отличие от Людовика XVI («О мученик ошибок славных...») лишена какого бы то ни было авторского сочувствия:

О стыд! о ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары!..
Падут бесславные удары...
Погиб увенчанный злодей.

Квартира братьев Тургеневых, в которой, согласно преданию, Пушкин и сочинил свою оду, находилась как раз напротив бывшего Михайловского замка — дворца, в котором был задушен Павел:

Глядит задумчивый певец
На грозно спящий средь тумана
Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец —
И слышит Клии страшный глас
За сими страшными стенами,
Калигулы последний час

Он видит живо пред очами...

Весь этот контекст недвусмысленно говорит об отвратительном, в глазах поэта, преступлении, совершенном в начале XIX века, хотя сам Павел оценивается крайне негативно («тиран», «Калигула», «увенчанный злодей»), и его убийцы также предстают весьма неприглядно:

Он видит — в лентах и звездах,
Вином и злобой упоенны,
Идут убийцы потаенны.
На лицах дерзость, в сердце страх.
(I, 287)

Иными словами — и казнь французского короля и убийство русского императора выступают в пушкинской оде как звенья одной цепи — и то, и другое возможны лишь в условиях беззакония, вызванного революционным произволом или бесконтрольным самодержавным правлением. Некоторые исследователи связывают эту тему оды Пушкина с политическими настроениями, вызванными кризисом декабристской идеологии в канун создания Союза Благоденствия: с отказом от идеи цареубийства, на которой строились тактические идеи Союза Спасения. Но едва ли Пушкин был посвящен в тонкости политических замыслов декабристов.

Из других поэтов-предшественников для пушкинской «Вольности» имел значение поэтический опыт Державина, сатира которого высоко ценилась и декабристами. В частности, у Державина Пушкин заимствовал редкую для русской оды форму строфы — восьмистишие (ср. оду Державина «Вельможа»), в отличие от более распространенного десятистишия⁶⁰.

Главное, что определяет содержание пушкинской «Вольности» и с чем связаны «дидактические примеры» (Б.В. Томашевский) о гибели двух монархов, — это идея Закона, единственно регулирующего действия и царей и народа:

Владыки! вам венец и трон
Дает Закон, а не природа;
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас Закон.

И горе, горе племенам,
Где дремлет он неосторожно,
Где иль народу, иль царям
Законом властвовать возможно!

(I, 284)

И вслед за этими словами — стихи о Людовике XVI... За пушкинской идеей Закона стоит мысль о конституционной монархии; политическая программа «Вольности» очень умеренна и не идет дальше представления о необходимости ограничения самодержавия конституционным законодательством:

И днесь учитесь, о цари:
<.....>
Склонитесь первые главой
Под сень надежную Закона
И станут вечной стражей трона
Народов вольность я покой, —

этимися словами заканчивается пушкинская «Вольность». В этом, помимо уроков Куницына, сказала же умеренная в это время политическая позиция Н. Тургенева, сочувственно воспринятая молодым поэтом.

И тем не менее, как справедливо, вслед за другими исследователями пушкинской оды, отмечает современный автор (И.С. Чистова), «весьма скромная по своей политической программе «Вольность» воспринималась как произведение откровенно революционное»⁶¹. Свя-зано это с присущим стихотворению резким разоблачительным пафосом, достигавшим особого накала в третьей и восьмой строфах:

Увы! куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы...
<.....>
Везде несправедная Власть
В сгущенной мгле предрассуждений
Воссела — Рабства грозный Гений
И Славы роковая страсть.
(I, 283)

И особенно остро:

Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостью вижу.
Читают на твоём челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты Богу на земле.
(I, 284)

Комментаторы оды по-разному интерпретируют адресата этой строфы. Формально — по ее местоположению вслед за стихами о Наполеоне — она может также относиться к

нему (из такого понимания исходил, в частности, Б.В. Томашевский); иногда же ее переадресовывали Александру I. Но в обоих этих случаях возникают недоуменные вопросы: смерть каких «детей» мог иметь в виду поэт? Наиболее вероятно предположение, что эта строфа не имеет в виду конкретного адресата, но относится вообще к любому «самовластительному злодею», обобщенный образ которого и предстает в пушкинской оде⁶². С подобным же осуждением любой самодержавной тирании связаны и строки второй строфы пушкинской оды:

Питомцы ветреной Судьбы,
Тираны мира! трепещите!
А вы мужайтесь и внемлите.
Восстаньте, падшие рабы!
(I, 283)

Не следует видеть здесь призыва к революционному действию, восстанию народа в собственном смысле слова. Б.В. Томашевский убедительно доказал, что в пушкинском словоупотреблении глагол «восстаньте» означал «встаньте, воспряньте» и т.п.⁶³; иначе эти стихи противостояли бы политической доктрине, из которой исходил Пушкин, исключавшей возможность противозаконной активности народа и осуждавшей ее.

Революционный пафос пушкинской оды определил репутацию ее автора как политически неблагонадежного поэта, что и отлилось потом в репрессивные меры, примененные против него, причем именно «Вольность», хотя даже власти находили в ней «великие красоты замысла и слога», особенно инкриминировалась поэту как произведение, свидетельствующее «об опасных началах, почерпнутых в современной школе, или, лучше сказать, в системе анархии». Гонение на «Вольность» связано еще и с тем, что Александра I особенно задело обращение Пушкина к щекотливой теме убийства его отца при молчаливом попустительстве его сына и наследника.

Непосредственно против Александра I направлено было другое политическое стихотворение Пушкина «Сказки. Noël» (1818). Его подзаголовок указывает на связь с традицией французских рождественских песенок (французское «Noël» означает «Рождество Христово», но употребляется и для обозначения соответствующего литературного жанра). В.В. Набоков определяет ноэли как «легкомысленные, то богохульные, то нежные песенки о

Рождестве Христовом и пр.»⁶⁴. Их непременными персонажами оказываются поэтому Богоматерь и младенец Христос. То же мы видим и у Пушкина:

Ура! в Россию скачет
Кочующий деспот.
Спаситель громко плачет,
А с ним и весь народ.

Мария в хлопотах Спасителя стращает:

«Не плачь, дитя, не плачь, сударь:
Вот бука, бука — русский царь!»
Царь входит и вещает...

Сатира, таким образом, направлена непосредственно на Александра I, после победы над Наполеоном увлеченно занимавшегося преимущественно внешней политикой и отдавшего дела внутренние на откуп временщику Аракчееву («Кочующий деспот», «И прусский и австрийский // Я сшил себе мундир...»). Основное содержание пушкинского стихотворения связано с реакцией поэта на порожденные речью Александра I, произнесенной в марте 1818 года в польском сейме, конституционные иллюзии. После поражения Наполеона значительная часть созданного им вассального «Герцогства Варшавского» отошла к России, и на этой территории Александр I создал «Царство Польское», соединенное с остальной империей личной унией: российский император короновался и как польский король («царь Польский»). «Царству Польскому» была дарована конституция, создававшая видимость представительного правления, что резко отличало политический быт Польши от общероссийского. Открывая в качестве польского короля первое заседание парламента (сейма) царь включил в свою речь (произнесенную по-французски) туманный намек на свое намерение распространить со временем политическое устройство Польши по всей России: «Образование (organisation), существовавшее в вашем краю, дозволяло мне ввести немедленно то, которое я вам даровал, руководствуясь правилами законнолюбивых учреждений (institutions libérales), бывших непрестанно предметом моих помышлений, и которых спасительное влияние надеюсь я, при помощи Божией, распространить и на все страны, Провидением попечению моему вверенные. Таким образом, вы мне подали средство явить моему отечеству то, что я уже с давних лет ему приготавливаю, и чем оно воспользуется, когда нача-

ла столь важного дела достигнут надлежащей зрелости. <...> Последствия ваших трудов в сем первом собрании, покажут мне, чего отечество должно впредь ожидать от вашей преданности к нему и привязанности вашей ко мне; покажут мне, могу ли я, не изменяя моим намерениям, распространить то, что уже мною для вас совершено». Публикация официального русского перевода речи Александра I (он был осуществлен служившим в то время в Варшаве П.А. Вяземским) в русской печати вызвало энтузиазм в обществе, хотя дворянство и опасалось, что осуществление подобных намерений может с неизбежностью подвести к ликвидации крепостничества. Но Пушкин был чужд этих иллюзий, увидев в словах Александра I несбыточное прожектерство. В его стихотворении царь претенциозно «вещает»:

«Закон постановлю на место вам Горголи,
И людям все права людей,
По царской милости моей,
Отдам из доброй воли»
От радости в постеле
Распрыгалось дитя:
«Неужто в самом деле?
Неужто не шутя?»
А мать ему: «Бай-бай! закрой свои ты глазки;
Пора уснуть уж наконец,
Послушавши как царь-отец
Рассказывает сказки».

(I, 304-305)

Упомянутый здесь И.С. Горголи — петербургский обер-полицеймейстер; но, как показал Б.В. Томашевский, выбор упомянутых в стихотворении Пушкина лиц («мелких агентов полицейского режима») более или менее случаен: «Этим он показывал, что дальше мелочей у Александра дело не пойдет»⁶⁵.

Справедливости ради, следует, однако, сказать, что в действительности близким сподвижником Александра I еще первых лет его царствования Н.Н. Новосильцевым, фактически управлявшим «Царством Польским», был разработан конституционный проект «Государственная уставная грамота Российской империи» (показательно, что в русском его варианте не употреблен термин «конституция»; ср. во французском оригинале: «La charte constitutionnelle de l'Empire de Russie»). Но проект этот так и остался на бумаге; в 1831 году его опубликовали польские революционные власти. По словам современного историка (С.В. Мироненко), это была попытка «соеди-

нить самодержавие с конституционной системой». Поскольку все кончилось ничем, Пушкин был прав в своих сомнениях. Даже Вяземский, близко стоявший к этому делу и в общем склонный доверять, искренности обещаний Александра I, допускал все же, что царь, возможно, «с умыслом дурачил свет», то есть не исключал демагогии, чем все в конце концов и обернулось. Я немного подробнее остановился на этом эпизоде, поскольку он наглядно высвечивает природу пушкинской оппозиционности того времени, тесно связанную с наблюдениями над современной политической действительностью, на которую он откликнулся с явно антиалександровских позиций; позднее в письме Жуковскому конца января 1826 года он заметит об Александре I: «я не совсем был виноват, подсвистывая ему до самого гроба» (X, 154).

Тесную связь с конкретными обстоятельствами политической жизни конца 1810-х годов обнаруживают и другие произведения Пушкина этого времени. О его осведомленности о некоторых проектах декабристов свидетельствует история со стихотворением Пушкина 1818 года «К Н.Я. Плюсковой» («На лире скромной, благородной...»), появление которого было, по-видимому, инспирировано Ф.Н. Глинкой, носившимся с замыслом дворцового переворота, который, устранив Александра I, возвел бы на престол его жену, имп. Елизавету Алексеевну, брачный союз которой с царем был подорван длительной его супружеской неверностью. Плюскова, к которой обращено стихотворение Пушкина, — фрейлина императрицы; но опубликовано оно было в 1819 году под полуофициозным заглавием «Ответ на вызов написать стихи в честь ее императорского величества государыни императрицы Елисаветы Алексеевны».

Содержание стихотворения сводится к прославлению добродетелей императрицы:

Я, вдохновенный Аполлоном,
Елисавету втайне пел.
Небесного земной свидетель,
Воспламененною душой
Я пел на троне добродетель
С ее приветною красой.
Любовь и тайная свобода
Внушали сердцу гимн простой,
И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.
(I, 302)

Внешне вполне комплиментарное, это стихотворение, казалось бы, вступает в некоторое противоречие с вольнолюбивыми произведениями ее автора; но обстоятельства его появления способны пролить дополнительный свет на контакты молодого Пушкина с декабристами. Конечно, из этого не следует, что последние не соблюдали должной конспирации и прямо посвящали поэта в свои политические проекты; но эпизод этот показателен для подтверждения близости Пушкина к представителям в основном умеренного крыла Союза Благоденствия.

После «Вольности» в центре политической лирики Пушкина конца 1810-х годов стоят стихотворения «К Чаадаеву» и «Деревня», а также чрезвычайно острая эпиграмма «На Аракчеева» («Всей России притеснитель...»; см, I, 363). Все они получили довольно широкое распространение в списках и пользовались большой популярностью особенно среди молодежи. По свидетельству декабриста И.Д. Якушкина, они «были не только всем известны, но в то время не было сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии, который не знал их наизусть»⁶⁶. Не совсем ясна последовательность появления названных стихотворений. Очевидно только, что «Деревня» написана в июле 1819 года во время кратковременного пребывания Пушкина в Михайловском. Стихотворение «К Чаадаеву» традиционно печатается среди произведений 1818 года; эта дата стоит в большинстве списков послания. Но некоторые исследователи (Ю.Г. Оксман, В.В. Пугачев) настаивают на том, что стихотворение это не могло появиться ранее 1820 года, когда Союз Благоденствия перешел на более радикальные позиции, что якобы присуще и пушкинскому⁶⁷ посланию. Ю.М. Лотман осторожно датировал «К Чаадаеву» 1818 — 1820 годами⁶⁸. Стремление во что бы то ни стало пересмотреть традиционную датировку этого стихотворения связано со свойственным пушкиноведению советского периода стремлением чрезмерно жестко привязать Пушкина к политической идеологии декабристов и радикализировать содержание его стихотворения: «Пушкин не только одобрял «революционный террор», но сам собирался убить царя. Об этом свидетельствует его послание «К Чаадаеву» — категорически заявляя, например, В.В. Пугачев⁶⁹. И хотя аргументация сторонников более поздней даты создания стихотворения «К Чаадаеву» не представляется мне достаточ-

но убедительной, все же остановлюсь сперва на «Деревне». В этом своем стихотворении Пушкин впервые обстоятельно обратился к одной из глубочайших язв современной ему социальной действительности — крепостничеству. Не случайно «Деревня» написана в Михайловском; новое посещение родительской усадьбы позволило поэту воочию соприкоснуться с крепостным сельским бытом, и эти впечатления сыграли решающую роль в создании «Деревни». Б.В. Томашевский справедливо отмечает, что с конца 1810-х годов «Пушкин нуждается в личном опыте для вдохновения, и его стихи отражают преимущественно виденное им»⁷⁰. Но Пушкин был подготовлен к восприятию новых впечатлений общением с неистовым противником крепостничества Н.И. Тургеневым, как раз в то время (1818–1819 годы) составлявшим адресованную Александру I записку «Нечто о крепостном состоянии в России» (экономической несостоятельности крепостнических отношений коснулся он и в подцензурном сочинении «Опыт о теории налогов» 1818, 2-е изд. — 1819). Вероятно, Н. Тургенев знакомил Пушкина с содержанием своей записки, или во всяком случае проговаривал освещавшиеся в ней вопросы в беседах с поэтом. Так, например, особое зло Н.Тургенев видел в барщине («Здесь рабство представляется во всем своем ужасе»; ср. в «Деревне» Пушкина: «Здесь Барство дикое, без чувства, без Закона // Присвоило себе насильственной лозой // И труд, и собственность, и время земледельца»; I, 319), касался он и тяжелого положения дворовых, характеризуя их как «класс людей который еще яснее носит на себе печать рабства. <...> Здесь мы узнаем в полной мере все печальные последствия крепостного состояния». Ср. в «Деревне»:

Опора милая стареющих отцов,
Младые сыновья, товарищи трудов,
Из хижины родной идут собой умножить
Дворовые толпы измученных рабов.
(I, 319)

Все это содержится во второй части пушкинского стихотворения, резко контрастирующей его началу:

Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
Где льется дней моих невидимый поток
На лоне счастья и забвенья.
<.....>
Я твой — люблю сей темный сад

С его прохладой и цветами,
Сей луг, уставленный душистыми скирдами,
Где светлые ручьи в кустарниках шумят.
<.....>
Оракулы веков, здесь вопрошаю вас!
В уединенье величавом
Слышнее ваш отрадный глас.
Он гонит лени сон угрюмый,
К трудам рождает жар во мне,
И ваши творческие думы
В душевной зреют глубине.
(I, 318-319)

В начале стихотворения рисуется традиционная идиллическая картина деревенского «уединения» (под таким заглавием эти стихи были помещены в сборниках стихотворений Пушкина 1826 и 1829 годов). Но, воссоздавая ее, поэт не ограничивается литературными реминисценциями, но обращается и к собственным конкретным наблюдениям над пейзажем родного Михайловского:

Везде передо мной подвижные картины:
Здесь вижу двух озер лазурные равнины,
Где парус рыбака белеет иногда,
За ними ряд холмов и нивы полосаты,
Вдали рассыпанные хаты,
На влажных берегах бродящие стада,
Овины дымные и мельницы крилатые;
Везде следы довольства и труда...
(I, 318)

Последний стих подчеркнута контрастирует приведенной затем картине крепостного рабства: «Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам // Здесь Рабство тощее влачится по браздам // Неумолимого Владельца» (I, 319). Как уже отмечалось, все эти картины отражают не только последствия общения с Н. Тургеневым (и уроки Куницына), но основываются на собственных наблюдениях Пушкина над жизнью окрестных крестьян, знакомстве с настоящим (и прошлым) михайловской окрестности (исследователи отмечают возможное знакомство поэта с историей волнений в 1783 году тригорских крестьян). В какой-то мере, воссоздавая жизнь крепостной деревни, Пушкин ориентировался и на А.Н. Радищева (пушкинисты советского периода склонны были преувеличивать его воздействие⁷¹), но вряд ли уже в эти годы он читал «Путешествие из Петербурга в Москву», хотя и мог иметь некоторое представление об этой книге через Н.И. Тургенева, а возможно и Н.М. Карамзину (но «Вольность» Радищева поэт, несомненно, знал⁷²).

Даже первая часть пушкинского стихотворения содержит намек на его основное содержание: «Я здесь, от суетных оков освобожденный, // Учуся в Истине блаженство находить, // Свободною душой Закон боготворить...» (I, 318). Цензор не заметил, однако, ничего предосудительного в этих стихах, явно отсылавших к пушкинской «Вольности»; к тому же поэт, публикуя свое усеченное стихотворение, подчеркнул его фрагментарность четырьмя рядами точек после стиха «В душевной зреют глубине», подсказывая догадливому читателю вывод о насильственности неполной публикации знакомого тому по спискам вольнолюбивого стихотворения.

Контрастная соотнесенность условно говоря первой и второй частей придавало пушкинской «Деревне» особый характер. Современная американская исследовательница С. Сандлер, предложившая интересный эстетический анализ стихотворения, увидела внутри единого текста как бы два стихотворения («пасторальное» и «подстрекательское»), причем первое — неотъемлемая часть второго: «Суть стихотворения заключается в том, как можно двумя способами толковать один и тот же пейзаж и как поэт может выбрать два различных способа обратить этот пейзаж в тему стихотворения»⁷³.

Несмотря на очевидную остроту «подстрекательского» стихотворения, и здесь Пушкин предлагает достаточно умеренную политическую программу, основанную на допущении возможности освобождения крестьян «сверху»:

Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный
И Рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством Свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная Заря?
(I, 319)

В этом тоже можно найти точки соприкосновения с позицией Н. Тургенева, который в адресованной Александру I записке утверждал: «Итак, согласимся, что одно правительство может приступить к улучшению жребия крестьян. Люди благомыслящие и знающие всю прелесть чувства исполнения обязанности могут и должны содействовать благим намерениям правительства и требованиям Отечества».

Эта концовка записки Н. Тургенева «Нечто о крепостном состоянии в России» связана и с реальной приверженностью царя идее освобождения крестьян и с убежденностью ав-

тора, что последнее должно предшествовать конституционным преобразованиям, о замысле которых Александр I намекнул в своей речи в Варшаве. «Всякое распространение прав дворянства, — писал Н. Тургенев, — было бы неминуемо сопряжено с пагубою для крестьян, в крепостном состоянии находящихся. В семто смысле власть самодержавная есть якорь спасения для Отечества нашего. От нее, от нее одной, мы можем надеяться освобождения наших братьев от рабства, столь же несправедливого, как и бесполезного».

Таким образом, Пушкин в «Деревне» находится в русле идей декабристов; и все же относительная умеренность позиции поэта позволила ему через посредство П.Я. Чаадаева представить Александру I именно это стихотворение, когда царь выразил желание познакомиться с чем-либо из вольнолюбивых стихотворений Пушкина. Прочитав «Деревню», Александру I не оставалось ничего иного, как хотя бы внешне ободрить молодого поэта: «Поблагодарите Пушкина за добрые чувства, которые его стихи вызывают» (вариант: «Передайте благодарность Пушкину за добрые чувства, которые его стихи вызывают»)⁷⁴. Впрочем, это не помешало вскоре включить и «Деревню» в ряд инкриминируемых поэту «возмутительных» стихов. Полностью «Деревня» была в 1856 году опубликована А.И. Герценом; в России же стихотворение Пушкина могло быть напечатано только в 1870 году.

Наконец, стихотворение «К Чаадаеву» тоже оказывается предельно близким к декабристской поэзии, хотя Ю.М. Лотман справедливо подчеркивал отличие пушкинского стихотворения от политической поэзии К.Ф. Рыльева⁷⁵. Как и в начале «Вольности» и в послании Чаадаеву поэт отвергает прежний, элегический путь во имя политической поэзии:

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.

Но показательно, что и дальше — в поэтическом сравнении — происходит невозможный для собственно декабристской поэзии возврат к любовной теме:

Мы ждем с томленьем упованья

Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.

В отличие от «Вольности» и «Деревни» стихотворение «К Чаадаеву» лишено риторичности; в авторском образе (равно как и в адресате) подчеркивается искренность и непосредственность чувств:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
(I, 307)

Л.Я. Гинзбург, правда, утверждает, что авторский образ политической лирики Пушкина не индивидуален, но «включен в тематическое и стилистическое единство вольнолюбивой <...>, декабристской поэзии...» Вместе с тем декабристский образ поэта «сосуществует в поэзии Пушкина с аспектами авторского сознания совсем другой тональности — прежде всего с образом элегического поэта». Автобиографическая конкретность ранней пушкинской лирики «проникает в традиционные образы поэта, гражданского или элегического, и уже начинает перестраивать их изнутри»⁷⁶. Не следует преувеличивать революционности пушкинского стихотворения (В.В. Пугачев даже противопоставлял «К Чаадаеву» «Вольности» и «Деревню», где еще не было собственно революционных идей⁷⁷). «Обломки самовластья» не обязательно должны появиться как результат именно революционного действия (тем более как результат царубийства, к совершению которого якобы был склонен сам Пушкин — нет никаких положительных данных, способных подтвердить это предположение). Точнее о «К Чаадаеву» пишет крупный пушкинист Ю.Н. Чумаков: стихотворение «запечатлело чистоту и возвышенность стремлений юного поэта, его романтическую восторженность». Названному автору принадлежат и важные наблюдения над соотношением этого стихотворения Пушкина с другим его посланием Чаадаеву (1824, но поэт печатал его под датой 1820; это, кстати, может быть дополнительным аргументом более раннего времени написания прежнего послания). Обраща-

ясь к тому же адресату, автор напоминает ему о предшествующем стихотворении:

Чедаев, помнишь ли бывшее?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина,
И в умиленье вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пищу я наши имена.
(II, 195)

«Обломкам самовластья» прежнего стихотворения поэт противопоставляет крымские развалины предполагаемого храма Дианы, освященного памятью мифологических друзей Ореста и Пилада. Ю.Н. Чумаков справедливо замечает, что новое послание Пушкина Чаадаеву не отменяет прежнего, но «притягивает его. Оба стихотворения и противопоставлены и продолжают друг друга, замыкаясь в высшее семантическое единство». Оба они, — заключает свою мысль ученый, — «содержат множественную, подвижную, более объективную точку зрения на вольнолюбивую дружбу и возможность свободы»⁷⁸. Новое послание Чаадаеву возникло в условиях кризиса, пережитого Пушкиным в 1820-е годы, о котором мы еще будем подробно говорить. Но в конце 1810-х годов Пушкин был исполнен еще молодых сил и испытывал политические иллюзии о возможности быстрых и решительных перемен в общественном и государственном строе России.

Говоря о политических стихотворениях Пушкина конца 1810-х годов, не следует забывать о том, что это художественные произведения высокого эмоционального накала и поэтического совершенства; вместе с тем писавшие о них нередко видели в них чуть ли не политические прокламации более или менее утилитарного свойства, например, В.В. Пугачев прямо называл «Деревню» и «К Чаадаеву» «стихотворными прокламациями», а в последнем стихотворении видел еще и «пламенное воззвание к революционному действию»⁷⁹, а Н.Л. Степанов, приступая к характеристике пушкинской «Деревни», определял это стихотворение как «смелую политическую декларацию поэта, высказавшего здесь свое гневное осуждение крепостного гнета, свое сочувствие народу», и видел в нем «один из наиболее популярных агитационных поэтических доку-

ментов декабризма»⁸⁰. Подобный подход сужает смысл политической лирики Пушкина, нивелируя ее художественную природу и эстетическое значение. Тем более недопустим он по отношению к «Деревне» и «К Чаадаеву», в отличие от «Вольности» — подчеркнуто политического стихотворения, — ближе стоящим к интимно-лирической сфере пушкинской поэзии произведениям.

Политические стихотворения Пушкина и особенно их широкое распространение в списках (по словам И.И. Пущина, «тогда везде ходили по рукам, переписывались и читались наизусть его «Деревня», «Ода на свободу», «Ура! В Россию скачет...» и другие мелочи в том же духе. Не было живого человека, который не знал бы его стихов»⁸¹) вызвали недовольство властей. Александр I готов был жестоко расправиться с поэтом, но ходатайство его влиятельных друзей, прежде всего Карамзина и Жуковского, привело к смягчению его участи, и дело ограничилось удалением Пушкина из Петербурга под внешне благовидным предлогом перевода по службе. Обстоятельства его ссылки были подробно описаны осведомленным свидетелем Ф.Н. Глинкой, бывшим в то время адъютантом петербургского губернатора гр. М.А. Милорадовича⁸².

Таким образом, «петербургский период» творчества Пушкина предстает как очень определенный этап его поэтического развития. Именно в эти годы утверждается вольнолюбие молодого поэта, которое становится доминирующей темой его лирики, политической прежде всего. Не следует, как уже говорилось, чрезмерно преувеличивать революционности Пушкина, но нельзя и приуменьшать значения его активной оппозиционности властям. Политические стихотворения Пушкина конца 1810-х годов явно свидетельствуют о его декабристских симпатиях и связях. Хотя общественная позиция поэта впоследствии сильно изменилась, он, как я уже говорил, никогда не отказывался от своего прошлого.

И долго буду тем любезен я народу,
 Что чувства добрые я лирой пробуждал,
 Что в мой жестокий век восславил я свободу
 И милость к падшим призывал, — (III, 340)

скажет, подводя итоги своего творчества, поэт («Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»; 1836). Тем более важно представлять его общественную позицию 1817 — 1820 годов для лучшего понимания раннего творчества

Пушкина, итогом которого явилась первая его поэма «Руслан и Людмила».

Работа над ней охватывает практически весь «петербургский период». По собственному признанию Пушкина, писать ее он начал «будучи еще воспитанником Царскосельского лицея, и продолжал ее среди самой рассеянной жизни» (IV, 367). Однако рукописный фонд поэмы не содержит материалов лицейского времени; систематическая работа над ней по рукописям прослеживается не ранее конца 1818 года⁸³; однако известно, что велась она и в первой половине 1818 года, а затем и в 1819 — начале 1820 годах. В ночь на 26 марта 1820 года поэма «Руслан и Людмила» была в основном закончена; ознакомившись с ее полным текстом В.А. Жуковский подарил Пушкину свой портрет с знаменательной надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя в тот высокаторжественный день, в который он окончил свою поэму «Руслан и Людмила», 1820 марта 26, Великая пятница». Надпись эту стали потом воспринимать в расширительном смысле; однако в 1820 году Жуковский едва ли был готов уступать молодому сопернику первенство в русской литературе. Речь шла лишь о том, что именно Пушкину удалось осуществить ту задачу, которую поставили перед собой писатели-карамзинисты, объединившиеся а «Арзамасе», — создать новую эпическую поэму на русском национальном материале. Сам Жуковский долгое время обдумывал замысел такой поэмы («Владимир»), накапливая материалы для ее написания, но так и не реализовал его, а после появления пушкинской поэмы и вовсе от него отказался⁸⁴. Вскоре после отъезда Пушкина из Петербурга было получено цензурное разрешение на отдельное издание «Руслана и Людмилы», которое вышло в свет в начале августа 1820 года. Однако знакомство с поэмой Пушкина началось еще до появления в печати полного ее текста. Два больших отрывка из «Руслана и Людмилы» были напечатаны в журналах в марте — апреле 1820 года, и уже они обратили на себя внимание критиков. Застрельщиком чрезвычайно бурной полемики вокруг поэмы («За поэму Пушкина «Руслан и Людмила» восстала здесь ужасная чернильная война: глупость на глупости», — иронически оценил эту критическую перебранку А.А. Бестужев) оказался автор письма редактору московского журнала «Вестник Европы» (им был М.Т. Каченовский) под заглавием «Еще критика». Своего имени критик не

назвал, представившись стариком, жителем Бутырской слободы. Позднее выяснилось, что под этой условной маской укрылся некто А.Г. Глаголев, вовсе не старый еще человек (он был ровесником Пушкина), и тоже ученого, в круг научных интересов которого входил и русский фольклор, знатоком и ценителем которого он являлся. Тем не менее в своей рецензии на «Руслана и Людмилу» он выступил решительным противником введения фольклорного материала в высокую поэзию, не как одного из возможных «низких» предметов: «Я не прочь от собирания и изыскания русских сказок, но когда узнал я, что наши словесники приняли старинные песни с совсем другой стороны <...> и наконец так влюбились в сказки и песни, что в стихотворениях XIX века заблистали Ерусланы и Бовы на новый манер, то я вам слуга покорный! <...> Но увольте меня от подробностей и позвольте спросить: если бы а Московское благородное собрание втерся (предполагаю невозможное возможным) гость с бороδοю и в лаптях и закричал бы зычным голосом: здорово, ребята! Неужели стали бы таким проказником любоваться. <...> Зачем допускать, чтобы плоские шутки старины вновь появились между нами! Шутка грубая, неодобряемая вкусом просвещенным отвратительна, и нима-ло не смешна и не забавна! Dixi.»⁸⁵.

Статья Глаголева определила во многом направление полемики вокруг «Руслана и Людмилы»; поэма Пушкина поставила в тупик тех, кто оценивал ее с позиций схоластической поэтики, и они, почувствовав в ней нечто выламывающееся из общепризнанных казалась бы представлений, поспешили придирчиво раскритиковать ее. Не входя в подробности этих критических баталий⁸⁶, отмечу, что само повышенное внимание, которое критика уделила первой поэме Пушкина, свидетельствовало о признании ее необычным и неприемлемым для многих, но несомненно незаурядным и открывающим новые горизонты для литературы явлением. Даже наиболее негативно настроенные по отношению к автору «Руслана и Людмилы» критики вынуждены были отметить несомненные достоинства его поэмы, ее безусловную неординарность и даже перспективность того пути, который открывала она для русской поэзии. «Поэт умел устлать для читателя путь цветами. Не спору, что эта дорога послужит к обогащению нашей словесности; но она не поведет к образованию и облагородствованию вкуса», — пи-

сал, например, рецензент журнала «Невский зритель», чрезвычайно жестко отозвавшийся о пушкинской поэме и даже сравнивший ее с появившимися во Франции конца XVIII века произведениями, благодаря чему «произошел не только упадок словесности, но и самой нравственности»⁸⁷. Этот намек на события Великой Французской революции указывает на то, что в «Руслане и Людмиле» — и не без основания — готовы были увидеть скрытый либерализм ее автора. С этим же связаны и упреки за излишнее, по мнению критиков, «сладострастие» некоторых сцен пушкинской поэмы (один из них, Н.И. Кутузов, писал: «Пожалеем, что перо Пушкина, юного питомца муз, одушевлено не чувствами, а чувственностью»⁸⁸), что действительно было связано с тем вызовом господствующей ханжеской морали, которое мы встречали и в лирике Пушкина конца 1810-х годов. Накал страстей, вызванный появлением «Руслана и Людмилы», только способствовал читательскому успеху поэмы, и тот же А. Глаголев, который в свое время открыл дискуссию о ней, уже на ее излете, в 1821 году прямо заявил, будто пушкинская поэма «своею известностию не столько обязана собственным достоинствам, сколько критикам, антикритикам и антиантикритикам»⁸⁹. Конечно, это преувеличение: своим успехом поэма была обязана не столько придирчивой критике, сколько именно поэтическим достоинствам, поразившим и восхитившим читателей. Но и повышенное внимание критики в какой-то мере отражало этот успех и способствовало привлечению читательского внимания к первой поэме Пушкина, само имя которого с этого времени становится широко известным и популярным. По словам одного из современников поэта (Н.А. Маркевича), «к 1820 году Пушкин стал знаменитым окончательно».

Критикам «Руслана и Людмилы» уделил немало внимания и Пушкин в предисловии ко второму изданию поэмы (1826), обильно процитировав, в частности, приведенное выше суждение «бутырского критика» (А. Глаголева). Все это по прошествии восьми лет выглядело уже совершенным анахронизмом.

Ожесточенность споров вокруг «Руслана и Людмилы» в 1820 — 1821 годах связана с тем, что критики, почувствовав новаторский характер пушкинской поэмы, отказались принять его и не сумели даже правильно его оценить. Позднее Белинский назовет это «нравственной слепотой, препятствующей видеть

сущность предмета». Читательский же успех «Руслана и Людмилы» он связывал с «предчувствием нового мира творчества, которое открывал Пушкин своими первыми произведениями...» «В этой поэме всё было ново, — замечал критик, — и стих, и поэзия, и шутка, и сказочный характер вместе с серьезными картинами»⁹⁰.

Главное, что определило новаторство первой поэмы Пушкина, — это художественная организация повествования, подчиненного авторскому, лирическому началу. На этом основании современный исследователь О.А. Проскурин определил «Руслана и Людмилу» как «мнимую поэму», лишь внешне напоминающую эпическое повествование»⁹¹. Пушкин, — отмечает он, — «подошел к эпосу, как к литературной игре». «В своей основе «Руслан и Людмила» — лирическое произведение, «беседа» с друзьями и красавицами», развившаяся в основном из дружеского послания. На лирическое основание накладывается рассказ о «событиях», приключениях героев»⁹². В центре поэмы Пушкина — образ автора, определяющий ее повествовательную структуру; именно автор объединяет вокруг себя все содержание поэмы, целиком подчиненное лирическому началу. Вне автора, его постоянного присутствия в тексте, его оценочных реплик, «отступлений» невозможно восприятие поэмы как целого. Вот пример ведения повествования от лица автора в «Руслане и Людмиле»:

Друзья мои! а наша дева?
Оставим витязей на час;
О них опять я вспомню вскоре.
А то давно пора бы мне
Подумать о молодой княжне
И об ужасном Черноморе.
(IV, 26)

В «Руслане и Людмиле» в сложном соотношении предстают лирика и эпос, первая, однако, играет доминирующую роль: эпическое повествование подчинено авторскому началу и даже растворяется в нем. Образ автора в поэме объективирован и предельно конкретен, он ориентирован на лирику Пушкина, но не столько на лирику современную поэме, сколько на предшествующую лирику поэта, что открывало возможность для иронического освещения. ««Руслан и Людмила», — справедливо заключает О.А. Проскурин, — оказалась *поэмой о лирике* и в значительной мере *поэмой, сделанной из лирики*»⁹³. Рядом с авто-

ром постоянно возникает к читателю («Друзья мои» в приведенном выше примере), причем преимущественно в образе «читательниц» (что характерно для карамзинской традиции, на которую ориентирована поэма Пушкина); именно к ним обращено «Посвящение», настраивающее на лирическую волну:

*Для вас, души моей царицы,
Красавицы, для вас одних
Времен минувших небылицы,
В часы досугов золотых,
Под шепот старины болтливой,
Рукою верной я писал;
Примите ж вы мой труд игривый!
Ничьих не требуя похвал,
Счастлив уж я надеждой сладкой,
Что дева с трепетом любви
Посмотрит, может быть, украдкой
На песни грешные мои.
(IV, 7)*

В этой автохарактеристике важными для восприятия поэмы оказываются аттестация ее событий как «времен минувших небылицы», а также такие оценки ее, как «труд игривый», «песни грешные». Все это определяет повествовательную структуру «Руслана и Людмилы» и особенности ее читательского восприятия.

При всем своем новаторстве Пушкин в своей первой поэме ориентируется на значительную традицию, русскую и западноевропейскую. Исследование «Руслана и Людмилы» в дореволюционном пушкиноведении и свелось в значительной мере к установлению ее возможных источников: упоминались произведения Ариосто («Неистовый Роланд»), Вольтера («Орлеанская девственница»), Макферсона («Поэмы Оссиана») и др. Среди русских источников поэмы назывались «Душенька» И.Ф. Богдановича, сказки М.Д. Чулкова, «Илья Муромец» Н.М. Карамзина и другие «богатырские повести», и т. д. вплоть до баллад В.А. Жуковского. Связь с последними обнажает полемика с Жуковским: пародийная переливка сюжета «Двенадцати спящих дев» в эпизоде пребывания Ратмира в замке двенадцати «преlestных дев».

Прости мне, северный Орфей,
Что в повести моей забавной
Теперь вослед тебе лечу
И лиру музы своенравной
Во лжи прелестной обличу.
(IV, 47)

При определении связи «Руслана и Людмилы» с многочисленными «источниками» часто допускались натяжки, зависимость от них пушкинской поэмы сильно преувеличивалась, но уже в то время раздавались трезвые голоса, призывающие ограничить представление о якобы несамостоятельности Пушкина в построении сюжета его поэмы. Так, например, еще на рубеже XX в. Н.И. Черняев писал: «Было бы ошибкой, однако, думать, что Пушкин рабски подражал Ариосту. <...> В «Руслане к Людмиле» несравненно больше пушкинского, чем ариостовского».

И тем не менее вопрос о связи первой пушкинской поэмы с предшествующей литературной традицией — реальная проблема, нуждающаяся в объективном и обстоятельном изучении⁹⁴. Кроме литературных ориентиров, Пушкин в «Руслане и Людмиле» опирался и на фольклорный материал, строил свою поэму как произведение с фольклорной основой; правда, ее фольклоризм еще очень ограничен. Поэт, несомненно, и к этому времени был знаком с образцами подлинно народного творчества, но в своей первой поэме ориентировался в основном на вторичные по отношению к фольклору книжные источники.

Рассказ о событиях, составляющих сюжет поэмы, Пушкин начинает с указания на их отнесение к далекому прошлому:

Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.
(IV, 9)⁹⁵.

Этот зачин сюжетной части поэмы и одновременно ее концовка, благодаря чему «Руслану и Людмиле» придана кольцевая композиция, внешне создает условия для восприятия поэмы как исторического произведения. Но и историзм первой пушкинской поэмы тоже еще очень ограничен. Напротив, отдаленность описываемых событий во времени и их легендарный характер позволяли поэту весьма вольно обращаться с прошлым. Правда, воссоздавая картину пира князя Владимира, Пушкин ориентировался на только что прочитанные им тома «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина, к последней восходят и имена некоторых действующих лиц пушкинской поэмы (Рогдай, Фарлаф). Но автор и здесь подчеркивает отдаленность описываемых событий:

Не скоро ели предки наши,
Не скоро двигались кругом

Ковши, серебряные чаши
С кипящим пивом и вином.
(IV, 9)

Возникает, таким образом, оппозиция «они» («предки наши») — «мы» отодвигающая события сюжетной части поэмы в далекое прошлое, воссоздаваемое, правда, автором — человеком иного, современного мира. Первые критики «Руслана и Людмилы» ставили это даже в упрек Пушкину, видя в такой проекции прошлого на настоящее якобы «недостаток» его поэмы. «Я желал бы быть очарован, забыться, — писал критик «Невского Зрителя», — и в то же время поэт останавливает мои восторги, и вместо древности я узнаю, что живу в новейшие времена: несообразность делается видимою, и сверх того это развлекает внимание, уменьшает цену предметов»⁹⁶. Но именно такое отстраненное отношение к прошлому создает условия для иронического подхода к нему, что и оказывается одной из форм проявления авторского «я» в поэме. Соединение лирического и эпического начал проявляется и в характере так называемых «отступлений» как прямого вторжения авторского голоса. Приведу характерный пример:

И вот невесту молодую
Ведут на брачную постель;
Огни погасли... и ночную
Лампаду зажигает Лель.
<.....>
Вы слышите ль влюбленный шепот,
И поцелуев сладкий звук,
И прерывающийся ропот
Последней робости?..
(IV, 10)

Здесь видно, как в казалось бы внешнее описание вторгается автор, вступающий в диалог с читателем («Вы слышите ль...»); еще более непосредственно предстает он в момент, когда герой убеждается в утрате похищенной «безвестной силой» невесты:

Ах, если мученик любви
Страдает страстью безнадежно,
Хоть грустно жить, друзья мои,
Однако жить еще возможно.
Не после долгих, долгих лет
Обнять влюбленную подругу,
Желаний, слез, тоски предмет,
И вдруг минутную супругу
Навек утратить... о друзья,
Конечно, лучше б умер я!

Однако жив Руслан несчастный.
Но что сказал великий князь?..
(IV, 11)

И рассказ снова переключается от лирики к повествованию. По словам Б.В. Томашевского, стих «Однако жив Руслан несчастный» «разбивает весь пафос элегической фразеологии», представленной в лирическом «отступлении», и она «становится как бы объектом изображения»⁹⁷.

Благодаря «отступлениям», переключениям из плана в план, переходам от одних героев к другим и т.п. композиционным приемам создается иллюзия чрезвычайно сложного действия (на самом деле довольно простого и прямолинейно развивающегося). И в этом реализуется активная роль автора; постоянное вторжение его прямого голоса в повествование исключает возможность серьезного восприятия сюжета; само «серьезное» (с точки зрения героев) благодаря усилиям автора нередко предстает в ироническом освещении.

Вот Людмила в садах Черномора. Не замечая окружающей ее красоты, героиня, казалось бы, проявляет готовность к самопожертвованию:

На воды шумные взглянула,
Ударила, рыдая, в грудь,
В волнах решила утонуть —
Однако в воды не прыгнула
И дале продолжала путь.
(IV, 30)

Затем, едва подумав о еде, Людмила видит перед собой чудесно возникший шатер с изысканным угощением:

Дивится пленная княжна,
Но втайне думает она:
«Вдали от милого, в неволе,
Зачем мне жить на свете боле?
О ты, чья гибельная страсть
Меня терзает и лелеет,
Мне не страшна злодея власть:
Людмила умереть умеет!
Не нужно мне твоих шатров,
Ни скучных песен, ни пиров —
Не стану есть, не буду слушать,
Умру среди твоих садов!»
Подумала — и стала кушать.
(IV, 31)

Эти эпизоды вызвали недовольное замечание А.Ф. Воейкова, автора самой большой критической статьи о «Руслане и Люд-

миле» (1820): «Пушкин описывая отчаяние Людмилы, увидевшей себя во власти злого чародея, осыпает ее насмешками за то, что она не решилась утопиться или уморить себя с голоду»⁹⁸. Но это отнюдь не «насмешки», а озорная коррекция пафосных мест иронической оценкой автора, вовсе не меняющая его положительного отношения к героине поэмы и сочувствия ей. Мотивированная постоянным присутствием автора ирония оказывается важнейшим средством ведения повествования в «Руслане и Людмиле», пронизывая его насквозь⁹⁹. Как уже отмечалось, автор постоянно ведет диалог с читателем; в ходе его образ автора конкретизируется, он наделен чертами светского повесы, поэта-эпикурейца, даже театрала (см. в третьей песни поэмы восходящее к театральным впечатлениям Пушкина развернутое сравнение смятенной живой головы с «плохим питомцем Мельпомены» — IV, 42-43). Одновременно конкретизируется и образ читателя, обретая даже в «запевке» (термин Б.В. Томашевского) шестой песни черты единого адресата:

Ты мне велишь, о друг мой нежный,
На лире легкой и небрежной
Старинны были напевать
И музе верной посвящать
Часы бесценного досуга...
Ты знаешь, милая подруга...

Соответственно дополнительный штрих вносится и в образ автора:

Решусь: влюбленный говорун,
Касаюсь вновь ленивых струн;
Сажусь у ног твоих и снова
Бренчу про витязя младого.
(IV, 70; курсив мой — Л.С.)

Представление о поэзии автора спроецировано на предшествующую, лицейскую лирику Пушкина:

В кругу прелестных дев, Ратмир
Садится за богатый пир.
Я не Омер: в стихах высоких
Он может воспевать один
Обеды греческих дружин
И звон, и пену чаш глубоких.
Милее по следам Парни,
Мне славить лирою небрежной
И наготу в ночной тени,
И поцелуй любви нежной!..
(IV, 50)

Или еще один пример:

Пастушки, сон княжны прелестной
 Не походил на ваши сны...
 <.....>
 Я помню темный вечерок,
 Я помню Лиды сон лукавый...
 Ах, первый поцелуй любви,
 Дрожащий, легкий, торопливый,
 Не разогнал, друзья мои,
 Ее дремоты терпеливой...
 Но полно, я болтаю вздор!
 К чему любви воспоминанье?
 Теперь влекут мое вниманье
 Княжна, Руслан и Черномор.
 (IV, 61-62)

Именно обращенность к прошлому своей лирики позволяет Пушкину представлять ее, как в последнем случае, с легким налетом иронии, своеобразно окрашивающей авторский образ.

Таким образом, автор сложно предстает в тексте поэмы, раскрытию его образа подчинено все повествование, мотивированное постоянным авторским присутствием и вмешательством. Герои лишены самостоятельности; они, как и их приключения, существуют лишь постольку, поскольку их вызвала из небытия прихотливая фантазия автора и проявляются через его отношение к ним (этому не противоречит мнимое указание на якобы источник сведений повествователя: «Монах, который сохранил // Потомству верное преданье // О славном витязе моем...»; IV, 61). Поскольку рассказ о героях в «Руслане и Людмиле» находится целиком в руках автора, в их обрисовке оказываются возможны «анахронизмы», за которые критика упрекала Пушкина¹⁰⁰, например, придание Руслану не свойственных древнерусскому витязю черт сентиментального персонажа:

Со вздохом витязь вкруг себя
 Взирает грустными очами.
 «О поле, поле, кто тебя
 Усеял мертвыми костями.
 <.....>
 Зачем же, поле, смолкло ты
 И поросло травой забвенья...»
 (IV, 39)

По верному наблюдению Ю.Н. Тынянова, в «Руслане и Людмиле» можно видеть только «амплуа героев, на которые нагружает-

ся разнообразный материал»¹⁰¹ это исключает серьезное отношение к сюжетному действию, играющему в поэме отнюдь не главную роль. «Не столько самые события, — справедливо отметил Б.В. Томашевский, — сколько общение с автором поэмы через его рассказ составляло сущность новой формы поэмы»¹⁰².

Почти одновременно с выходом в свет «Руслана и Людмилы» Пушкин пишет эпилог к поэме, опубликованный затем вместе с некоторыми дополнениями к ее тексту. Этот эпилог вносит существенные коррективы в восприятие поэмы, в частности подчеркивая условность авторского образа в ней. «Я» эпилога разительно отличается от «я» рассказчика, и это новое «я» предстает как действительное лицо автора, хотя и оно столь же условно, представляя нового лирического героя пушкинской поэзии (романтического поэта-элегика), возникший на автобиографической основе:

Забывтый светом и молвою,
 Далече от берегов Невы,
 Теперь я вижу пред собою
 Кавказа гордые главы.
 <.....>
 Душа, как прежде, каждый час
 Полна томительною думой —
 Но огонь поэзии погас.
 <.....>
 Восторгов краткий день протек —
 И скрылась от меня навек
 Богиня тихих песнопений...
 (IV, 80)

Напечатанный отдельно, эпилог был рассчитан на то, что читатели «Руслана и Людмилы» смогут сопоставить его с основной частью поэмы, вместе с которой он был опубликован уже во втором издании первой поэмы Пушкина. В этом издании 1828 года по-новому открывалась и первая песнь: ее прежнему зачину («Дела давно минувших дней...») предшествовал теперь так называемый «пролог», написанный уже в Михайловском («У лукоморья дуб зеленый...»); то понимание фольклора, которое представлено в нем, разительно отличается от поверхностного фольклоризма «Руслана и Людмилы». Вместе с тем, вводя «пролог» в текст поэмы, Пушкин подчеркнул ее ориентированность на фольклорную основу; теперь она представляется как: «сказка», восходящая к миру русской народной поэзии:

И там я был, и мед я пил;

У моря видел дуб зеленый;
Под ним сидел, и кот ученый
Свои мне сказки говорил.
Одну я помню: сказку эту
Поведаю теперь я свету...
(IV, 3)

Откликаясь в 1828 году на второе издание «Руслана и Людмилы», критик О.М. Сомов замечал: «Сим прологом, или, говоря языком наших сказочников, присказкою, поэма приняла форму более оригинальную, более русскую»¹⁰³. Вообще первая поэма Пушкина во втором ее издании значительно отличалась от ее первоначального облика, что, по мнению В.А. Кошелева, позволяет говорить о «новом тексте» «Руслана и Людмилы». И этот текст, исключив предисловие ко второму изданию поэмы, поэт повторил в первой части итогового издания «Поэм и повестей Александра Пушкина» (1835).

Первая поэма Пушкина «Руслан и Людмила» открывала новые перспективы творчества поэта. Найденные в ней поэтические приемы оказались чрезвычайно плодотворными и получили свое развитие в его последующих произведениях. Организация повествования вокруг образа автора и конкретизация последнего создавали предпосылки для возникновения в будущем принципиально нового и значительно усложненного типа стихотворного повествования в «Евгении Онегине», для которого опыт «Руслана и Людмилы» оказался чрезвычайно значительным и плодотворным¹⁰⁴. Что же касается эпилога поэмы, писавшегося незадолго до начала работы над «Кавказским пленником», то он связывает два этапа пушкинского творчества, представляя собою как бы мостик от «Руслана и Людмилы» к южным поэмам и романтической лирике Пушкина начала 1820-х годов, к которым нам и предстоит перейти.

Примечания

¹ Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. М., 1969. С. 123.

² Томашевский Б.В. Пушкин. Кн. 1: 1813 – 1824. М.; Л., 1956. С. 3.

³ Мейлах Б.С. Жизнь Александра Пушкина. Л., 1974.

⁴ Подробнее см. в моей ст.: Начальный этап формирования пушкинской прозы (1815 – 1822) // Пушкинский сборник. Рига, 1968. С. 5-15. (Уч. зап. / Латв. ун-т. Т. 106) и в первой гл. моей кн.: Худо-

жественная проза А.С. Пушкина (Рига, 1973).

⁵ Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. С. 124.

⁶ См., напр.: Пуцин И.И. Записки о Пушкине (7, т. I, с. 71-96), биографические книги о Пушкине, особ. Ю.М. Лотмана, приложение к кн. 1 монографии Б.В. Томашевского (с. 675-718), популярный очерк: Эйдельман Н.Я. Прекрасен наш союз // Эйдельман Н.Я. Твой 18-й век; Прекрасен наш союз. М., 1991. С. 221-395 и мн. др. Из новейшей литературы о Лицее см. кн.: Руденская С.Д. Царскосельский-Александровский Лицей, 1811 – 1917. СПб., 1999. Ср. более раннее изд.: Руденская М., Руденская С. Наставникам... за благо воздадим: Очерки. Л., 1986.

⁷ Лотман Ю.М. Пушкин: Биография писателя; Статьи и заметки 1960 – 1990; «Евгений Онегин» Комментарий. СПб., 1995. С. 29.

⁸ Грот К.Я. Пушкинский Лицей. СПб., 1999. С. 22. Кн. К. Грота, впервые изд. в 1911 г., представляет собой ценный сборник материалов, относящихся к первому, пушкинскому курсу Царскосельского Лицея. Они были собраны отцом составителя, акад. Я.К. Гротом, лицеистом VI курса (вып. 1832 г.); частично собранные им материалы по истории Пушкинского курса были использованы в его классическом труде «Пушкин, его лицейские товарищи и наставники» (СПб., 1887, 2-е изд., доп. – 1899).

⁹ Томашевский Б.В. Пушкин. Кн. 1. С. 690.

¹⁰ Краткие сведения о всех соучениках Пушкина см.: Руденская М., Руденская С. Они учились с Пушкиным. Л., 1976.

¹¹ Лотман Ю.М. Пушкин. С. 30.

¹² В полном составе этот сб. перепечатан в кн.: Лирика лицейстов. М., 1991. С. 82-154.

¹³ Томашевский Б.В. Пушкин. Кн. 1. С. 699.

¹⁴ Грот К.Я. Указ. изд. С. 93.

¹⁵ Поэты 1820 – 1830-х гг. Т. 1. Л., 1972. С. 489 (Библиотека поэта, большая серия).

¹⁶ Материалы, относящиеся к литературной деятельности лицейстов, см.: Грот К.Я. Указ. изд. С. 155-370 (разделы «Литературные занятия первенцев Лицея» и «Лицейские журналы»).

¹⁷ А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. М., 1974. С. 81.

¹⁸ Лотман Ю.М. Пушкин. С. 37.

¹⁹ Стих приводится в соответствии с прижизненными публикациями пушкинского стихотворения. См.: Стихотворения Александра Пушкина / Изд. подг. Л.С. Сидяков. СПб., 1997. С. 8 и 462. (Литературные памятники). Предпочтение современного написания рифмующегося слова (глубокий) разрушает предусмотренную автором рифму; глубокий – око – совершенно невозможная

для Пушкина рифма. В отличие от нового академического изд. сочинений Пушкина, в *Акад.* (т. I, с. 113) рифма глубокой – око была сохранена.

²⁰ *Томашевский Б.В.* Пушкин. Кн. 1. С. 57 и сл.

²¹ *Сурат И.З., Бочаров С.Г.* Пушкин: Краткий очерк жизни и творчества. М., 2002. С. 17.

²² Приведу характерный пример. В послании Пушкина своему лицейскому товарищу Юдину, вспоминая о пребывании в детстве в подмосковном его бабушки М.А. Ганнибал Захарове, Пушкин вполне по-державински писал:

Но вот уж полдень. – В светлой зале
Весельем круглый стол накрыт;
Хлеб-соль на чистом покрывале,
Дымятся щи, вино в бокале,
И щука в скатерти лежит.
(I, 150)

Ср. в стих. Державина «Евгению. Жизнь Званская»:

Бьет поддня час, рабы к столу бегут;
Идет за трапезу гостей хозяйка с хором.
Я озреваю стол – и вижу разных блюд
Цветник, поставленный узором.

Багряна ветчина, зелены *щи* с желтком,
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны.
Что смоль, янтарь – икра, и с голубым пером
Там *щука* пестрая: прекрасны!
(курсив мой. – Л.С.)

Правда, Б.П. Городецкий, приводя тот же фрагмент пушкинского «Послания к Юдину», комментирует эти стихи как «пример самостоятельных образов, явно связанных с ассоциациями из державинского творчества, но не имеющих прямого соответствия с тем или иным его стихотворением» (Городецкий Б.П. Лирика Пушкина. М.; Л., 1962. С. 44). Не оспаривая суждения авторитетного ученого, замечу, однако, что приведенные стихи из «Жизни Званской» подтверждают по крайней мере отмеченную Б.П. Городецким ориентированность пушкинского стиля на резко индивидуальные особенности державинской поэтики.

²³ *Гуковский Г.А.* Пушкин и русские романтики. М., 1965. С. 123.

²⁴ А.С.Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 89-90.

²⁵ *Вацууро В.Э.* Лицейское творчество Пушкина // Пушкин А.С. Сочинения. Т. 1: Лицейские стихотворения 1813 – 1817. СПб., 1999. С. 429.

²⁶ См.: *Вацууро В.Э.* Кто был пушкинский «друг стихотворец»? // Вацууро В.Э. Записки комментатора. СПб., 1994. С. 48-63. Высказывались предположения, что адресатом стихотворения Пушкина мог быть и В. Кюхельбекер; вполне возможно, однако, что адресат здесь условен, как полагал, в частности, Б.В. Томашевский (см.: Пушкин. Кн. 1. С. 49).

²⁷ О взаимоотношениях Пушкина с «Арзамасом» см.: *Гиллельсон М.И.* Молодой Пушкин и арзамасское братство. Л., 1974.; *Вацууро В.Э.* Заметки к теме «Пушкин и «Арзамас»» // НЛО. 2000. № 42. С. 150-160.

²⁸ *Цявловский М.А.* Послание «К Жуковскому» («Благослови, поэт...») // Цявловский М.А. Статьи о Пушкине. М., 1962. С. 107, 109.

²⁹ *Вацууро В.Э.* Лицейское творчество Пушкина. С. 432.

³⁰ Этот стих составлен из соответствующего фрагмента державинского стихотворения:

А только агнец белорунный
Смиренный, кроткий, но челоперунный,
Восстал на Севере один, –
Исчез змей исполин!

К цитированным стихам восходит и приведенный выше стих пушкинской пародии: «И кроткий агнец белорунный».

³¹ *Вацууро В.Э.* Лицейское творчество Пушкина. С. 430.

³² См.: ПВр. 1936. <Вып.> I. С. 3-25 / Публ. и комм. Л.Б. Модзалевского.

³³ Подробнее о вероятной связи замысла пушкинского стихотворения с посланием Хвостова см. в моей ст.: «Тень Фонвизина» // ВПК. 1989. Вып. 23. С. 90-98.

³⁴ А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 69.

³⁵ Там же. С. 39.

³⁶ См.: *Брюсов В.Я.* Мой Пушкин. Статьи, исследования, наблюдения. М.; Л., 1929. С. 23-31.

³⁷ *Томашевский Б.В.* Пушкин. Кн. 1. С. 119.

³⁸ *Левкович Я.Л.* Автобиографическая проза и письма Пушкина. Л., 1988. С. 32.

³⁹ *Петрунина Н.Н.* Проза Пушкина: Пути эволюции. Л., 1987. С. 16-17.

⁴⁰ Характеристику дневниковой записи 29 ноября 1815 г. как раннего прозаического текста Пушкина см. в моих работах: Начальный этап формирования пушкинской прозы (с. 13) и Художественная проза А.С. Пушкина (с. 23).

⁴¹ О поэтике ранней русской элегии 1800-х – 1810-х гг. см. в превосходной кн.: *Вацууро В.Э.* Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». СПб., 1994.

⁴² *Томашевский Б.В.* Пушкин. Кн. 1. С. 120.

⁴³ *Белинский В.Г.* Сочинения Александра Пушкина / Ред. предисл. и прим. Н.И. Мордовченко. Л. 1937. С. 218.

⁴⁴ *Гуковский Г.А.* Пушкин и русские романтики. С. 121.

⁴⁵ *Белинский В.Г.* Сочинения Александра Пушкина. С. 218-219.

- ⁴⁶ 10-й класс по Табели о рангах, заключавшей в себе 14 классов, или чинов.
- ⁴⁷ А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 59.
- ⁴⁸ Эти слова вынесены автором в заголовок раздела его биографического очерка о Пушкине: Милоков П.Н. Живой Пушкин. М., 1997. С. 61.
- ⁴⁹ Сурат И.З., Бочаров С.Г. Пушкин. С. 18.
- ⁵⁰ Тыркова-Вильямс А.В. Жизнь Пушкина. Т. 1: 1799-1824. М., 1998. С. 192.
- ⁵¹ Городецкий Б.П. Лирика Пушкина. С. 174.
- ⁵² Пушкин в русской философской критике. Конец XIX – первая половина XX вв. М. 1990. С. 363.
- ⁵³ См. особ.: Томашевский Б.В. Пушкин. Кн. 1. С. 193-234. Ср.: Модзалевский Б.Л. К истории «Зеленой лампы» // Модзалевский Б.Л. Пушкин и его современники. СПб., 1999. С. 9-66; Щеголев П.Е. «Зеленая Лампа» // Щеголев П.Е. Из жизни и творчества Пушкина. М.; Л., 1931. С. 39-68. То же: Щеголев П.Е. Первенцы русской свободы. М., 1987. С. 208-230.
- ⁵⁴ Томашевский Б.В. Пушкин. Кн. 1. С. 202.
- ⁵⁵ Эткинд Е.Г. Божественный глагол: Пушкин, прочитанный в России и во Франции. М., 1999. С. 402.
- ⁵⁶ См., напр.: Эйдельман Н.Я. Пушкин и декабристы: Из истории взаимоотношений. М., 1979.; Оксман Ю.Г. Пушкин и декабристы // Освободительное движение в России: Межвузовский научн. сб. Саратов, 1971. <Вып.> I. С. 70-88, а также работы В.В. Пугачева: «Эволюция общественно-политических взглядов Пушкина: Учебное пособие» (Горький, 1967) и «Пушкин, Радищев и Карамзин» (Саратов, 1993) – ч. 2: Пушкин и декабристы.
- ⁵⁷ Набоков В.В. Комментарий к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» / Пер. с англ. СПб., 1998 С. 478, 654.
- ⁵⁸ См. Томашевский Б.В. Пушкин. Кн. 1. С. 144 и сл.; Цявловский М.А. Хронология оды «Вольность» // Цявловский М.А. Статьи о Пушкине. М., 1962. С. 66-81; Чистова И.С. Ода «Вольность» // Звезда. 1999. № 7. С. 235-238.
- ⁵⁹ Пугачев В.В. Эволюция общественно-политических взглядов Пушкина. гл. 2; Пугачев В.В. Пушкин, Радищев и Карамзин. С. 91-113.
- ⁶⁰ См.: Томашевский Б.В. Пушкин. Кн. 1. С. 153-156.
- ⁶¹ Чистова И.С. Указ. соч. С. 237.
- ⁶² Пугачев В.В. Пушкин, Радищев и Карамзин. С. 105-106.
- ⁶³ См.: Томашевский Б.В. Пушкин. Кн. 1. С. 170-172.
- ⁶⁴ Набоков В.В. Комментарий к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». С. 662.
- ⁶⁵ Томашевский Б.В. Пушкин. Кн. 1. С. 176-177.
- ⁶⁶ А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 365.
- ⁶⁷ См.: Оксман Ю.Г. Указ. соч. С. 81-82; Пугачев В.В. К датировке послания Пушкина «К Чаадаеву» // ВПК – 67-68. С. 82-88; Скаковский И.Г. Пушкин и Чаадаев: К вопросу о датировке и трактовке послания Пушкина «К Чаадаеву» // ПИМ. 1978. Т. 8. С. 279-283; Пугачев В.В. 1818 или 1820 год? // ПИМ. 1979. Т. 9. с. 325-328. Свои аргументы В.В. Пугачев подробнее развил в своей кн.: Пушкин, Радищев и Карамзин, с. 142-156.
- ⁶⁸ Лотман Ю.М. Пушкин. С. 55.
- ⁶⁹ Пугачев В.В. Пушкин, Радищев и Карамзин. С. 142.
- ⁷⁰ Томашевский Б.В. Пушкин. Кн. 1. С. 189.
- ⁷¹ См., напр.: Степанов Н.Л. Лирика Пушкина: Очерки и этюды. М., 1959. С. 301-303
- ⁷² См.: Лотман Ю.М. Источники сведений Пушкина о Радищеве (1819 – 1822) // Лотман Ю.М. Пушкин. СПб., 1995. С. 763-764.
- ⁷³ Сандлер С. Далекие радости: Александр Пушкин и творчество изгнания. СПб., 1999. С. 39.
- ⁷⁴ См.: Цявловский М.А. Представление «Деревни» Пушкина Александру I // Цявловский М.А. Статьи о Пушкине. С. 365-369.
- ⁷⁵ См.: Лотман Ю.М. Учебник по русской литературе для средней школы. М., 2000. С. 205-206.
- ⁷⁶ Гинзбург Л.Я. О лирике / изд. 2 доп. Л., 1974. С. 183, 196-197.
- ⁷⁷ Пугачев В.В. Пушкин, Радищев и Карамзин. С. 154.
- ⁷⁸ Чумаков Ю.Н. Композиции двух посланий к Чаадаеву и эволюция пушкинского стиля // Чумаков Ю.Н. Стихотворная поэтика Пушкина. СПб., 1999. С. 316, 317. Ранее ст. была напеч.: Метод и мастерство: Русская литература. Вологда, 1970.
- ⁷⁹ Пугачев В.В. Пушкин, Радищев и Карамзин. С. 123-124, 153.
- ⁸⁰ Степанов Н.Л. Лирика Пушкина. С. 297.
- ⁸¹ А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 97.
- ⁸² Там же. С. 206-210.
- ⁸³ Фомичев С.А. Поэзия Пушкина: Творческая эволюция. Л., 1986. С. 45 и сл.
- ⁸⁴ Впрочем, некоторые возможности более широкого истолкования надписи Жуковского все же просматриваются. См. соображения об этом: Проскурин О.А. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М., 1999. С. 52-55.
- ⁸⁵ Пушкин в прижизненной критике. <Т. 1>: 1820 – 1827. СПб., 1996. С. 27; ср. IV, 369-371.
- ⁸⁶ Статьи 1820 – 1821 гг., посвященные «Руслану и Людмиле» см.: Пушкин в прижизненной критике. <т. 1>, с. 25-106. Полемика вокруг первой поэмы

Пушкина неоднократно была предметом обстоятельного рассмотрения. См. особ. книги *Томашевский Б.В.* Пушкин. Кн. 1. С. 340-356), *Кошелев В.А.* Первая книга Пушкина. Томск, 1997. С. 154-171, а также: *Мордовченко Н.И.* Русская критика первой четверти XIX века. М.; Л., 1959. С. 157-165.

⁸⁷ Пушкин в прижизненной критике. <Т. 1>. С. 73.

⁸⁸ Там же. С. 93.

⁸⁹ Там же. С. 104.

⁹⁰ *Белинский В.Г.* Сочинения Александра Пушкина. С. 300, 302-303.

⁹¹ Ср. суждение Б.В.Томашевского о «мнимом эпическом характере» рассказа в «Руслане и Людмиле» (*Томашевский Б.В.* Пушкин. Кн. 1. С. 359).

⁹² *Проскурин О.А.* Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. С. 21, 22.

⁹³ Там же. С. 26.

⁹⁴ См.: *Кошелев В.А.* Первая книга Пушкина. С. 64-120 и др.

⁹⁵ Это двустипише восходит к началу поэмы Дж. Макферсона «Картон»: «Повесть времен старинных! Деяния минувших лет!» – *Макферсон Дж.*

Поэмы Оссиана, Л., 1983. С. 91. (Литературные памятники).

⁹⁶ Пушкин в прижизненной критике. <Т. 1>. С. 71.

⁹⁷ *Томашевский Б.В.* Пушкин. Кн. 1. С. 325.

⁹⁸ Пушкин в прижизненной критике. <Т. 1>. С. 57.

⁹⁹ О роли иронии в повествовательной структуре первой пушкинской поэмы см. содержательную ст.: *Гуменная Г.Л.* Ирония и сюжетосложение шуточной поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» // БЧ. 1983. С. 169-179.

¹⁰⁰ Пушкин в прижизненной критике. <Т. 1>. С. 81.

¹⁰¹ *Тынянов Ю.Н.* Пушкин и его современники. М., 1969. С. 139.

¹⁰² *Томашевский Б.В.* Пушкин. Кн. 1. С. 311.

¹⁰³ Пушкин в прижизненной критике. <Т. 1>. С. 86.

¹⁰⁴ См.: *Чудаков А.П.* «Руслан и Людмила» и «Евгений Онегин» // Пушкинская конференция в Стэнфорде, 1999: Материалы и исследования. М., 2001. С. 241-251.